

# Анатолий Иванов

## Повитель

### XX век в изображении Анатолия Иванова

В советской литературе второй половины XX столетия творчество Анатолия Степановича Иванова — явление по-своему уникальное. Писатель вошел в литературу уверенным шагом человека, твердо знающего, что у него есть что сказать людям и сказать так, как до него не говорили другие. Попробовав свои силы в жанре очерка, приобретя какой-то опыт создания речевых характеристик в работе над небольшими рассказами, он обратился к главному, что волновало его, смело попытавшись сразу же развернуться в полную силу таланта. Уже через год после публикации первого рассказа, в 1955 году, он начинает работу над большим романом «Повитель».

Произведение создавалось начинающим писателем во внутренней полемике с более опытными собратьями по перу, не один из которых вдруг проникся скептическим отношением к так называемым «родимым пятнам капитализма в

сознании и психике» людей нашей страны. Кое-кто брал в кавычки такие понятия, как «собственность», «классовость», представляя в идиллическом свете прошлое, *все* прошлое. Появились произведения, восславлявшие «кондовое» как стержень души неповторимо прекрасных людей, словно вопреки самым сильным историческим бурям остающихся неизменными и только поэтому действительно прекрасными. Крылатым сделалось утверждение, будто благодаря им стоит и село, и край, и вся наша земля. Писатели, в той или иной степени разделявшие подобные мнения, порой вступали в спор с изображением основных этапов развития советской действительности, как она запечатлелась в «Чапаеве» и «Мятеже» Д. Фурманова, «Железном потоке» А. Серафимовича, «Поднятой целине» М. Шолохова, «Русском лесе» Л. Леонова, гипертрофировали неизбежные при коренной социальной ломке отрицательные проявления великого процесса пробуждения и исторической самостоятельности отдельных слоев народа. Кое-кто заново воссоздавал критически этот процесс на материале жизни и деятельности российских окраин или Сибири, где, как утверждалось, общепризнанные применительно к Центральной России социальные закономерности если и действовали, то совершенно по-иному. В это-то

время на пороге храма советской литературы и появился неторопливый, среднего роста, коренастый русоволосый человек с добродушным, но твердым лицом, с голубыми зоркими глазами. Чуть растягивая слова, он раздумчивым, спокойным, невысоким голосом расстановисто сказал: «Я тоже знаю, как много прекрасного в старине, в прошлом. Но есть и другая старина, не та, которую надо оберегать, а та, что до сих пор подстерегает нас. Вот тут я написал о ней. Вернее, писал я о нашей сегодняшней жизни. Но как-то так получилось, что, рассказывая о нынешнем дне, вынужден был заглянуть в теперь уже отдаленное прошлое». И положил на стол свой первый роман — «Повитель».

Все дальнейшее произошло так, как виделось когда-то С.Н. Сергееву-Ценскому. «Представьте не такой уж и длинный стол, за которым плечом к плечу, очень тесно сидят писатели-художники, которых не так и много, — фантазировал крупнейший мастер советской литературы. — И вот в дверь комнаты, где они сидят, осмотрительно входит некий молодой человек с явным намерением усесться за стол. Кажется, что за столом нет места! «Как так нет места? — улыбается вошедший. — А это разве не место?.. Это отличное место. И это мое место». И он садится за переполненный писателями

стол, и все видят, что для него вопреки законам физики очистилось просторное место, и он усаживается на нем прочно. Так, на мой взгляд, входят в литературу талантливые люди. Они входят уверенно, и только те, которые входят в нее таким именно образом, остаются в ней всерьез и надолго»<sup>1</sup>.

Не все талантливые писатели и не всегда именно так входили и входят в литературу. Но многие входили так. Среди них Анатолий Степанович Иванов. Зрелость автора «Повители» как художника поразила и читателей, и литературных критиков. Но первое крупное произведение не было создано писателем в одночасье. Оно рождалось в длительных и тяжелых муках человека, прошедшего суровую жизненную школу и не первый год державшего в руках перо. Роман увидел свет, когда автору исполнилось тридцать лет. Село Шемонаиха Восточно-Казахстанской области, где он родился 5 мая 1928 года и рос до семнадцати лет, по образу жизни, укоренившимся нравам и обычаям мало чем отличалось от сибирских сел и деревень. «Там по

---

<sup>1</sup> С. Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 3. М., Гослитиздат, 1955, с. 703.

укладу жизнь сибирская, и люди сибирские», — скажет он сам о родном селе после того, как в течение нескольких лет поколесит по Сибири. Мать писателя, рано потеряв мужа, осталась с тремя детьми, но не растерялась, бралась за любую работу, лишь бы можно было кормить, одевать, обувать и учить детей. Отвечая на вопрос автора этой статьи, есть ли в его личной жизни нечто, послужившее исходным материалом для создания образа Володьки Савельева («Вечный зов»), на хрупкие плечи которого уже перед войной обрушилась огромная тяжесть, а в годы войны он, его сверстники вместе с матерями стали чуть ли не основной силой, снабжавшей фронт всем необходимым, Анатолий Иванов рассказал: «Колхозниками мы никогда не были, жили в райцентре. Отец умер в 1936 году от какой-то болезни. Ему было всего 34 года. Работал он тогда заведующим райотделом «Союзпечать». Но в колхозах я работал много в дни школьных каникул, было много родственников в колхозах, таких парнишек, как Володька, видел много, дружил с ними. Вот все это и послужило... Мать у меня — неграмотная, после смерти отца работала уборщицей в разных учреждениях славного села Шемонаихи, в годы войны — в сельском клубе, я бесплатно ходил в кино и на концерты, приобщался

к искусству, что тоже, наверное, послужило...»<sup>2</sup>

Окончив в 1945 году среднюю школу, Анатолий Иванов, к тому времени загоревшийся мечтой стать газетчиком, журналистом, из-за отсутствия средств не смог сразу поехать учиться дальше и только год спустя поступил на факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова в городе Алма-Ате. Читал все, что попадалось под руку, и, по его словам, во время практики «много писал всяких газетных материалов». После окончания университета в 1950 году работал сначала литературным сотрудником сельскохозяйственного отдела, а затем заместителем ответственного секретаря редакции газеты «Прииртышская правда» (г. Семипалатинск). Призванный в следующем году в ряды Советской Армии, начал службу на Дальнем Востоке как солдат, потом направили в военную газету. После демобилизации в чине младшего лейтенанта запаса решил возвратиться в Семипалатинск, но по пути случайно задержался в Новосибирске, получил здесь предложение стать редактором районной газеты «Ленинское знамя»

---

<sup>2</sup> Ниже, за исключением специально оговоренных случаев, биографические данные приводятся из этого письма ко мне от 9 сентября 1978 года.

(Мошковский район Новосибирской области). «И благодарю тот день и час, — признается он участникам обсуждения «Повители» в 1959 году, — когда дал согласие, потому что это мне, в частности для романа, дало очень и очень много. Работал в этой районной газете и разъезжал по колхозам. Вот тут у меня и зарождались первые замыслы, которые я попытался передать в своих рассказах. Написав первый рассказ «Дождь», послал его в журнал «Огонек». Там его не опубликовали, а почему-то переслали в журнал «Крестьянка», где он был напечатан в 1954 году». Успех первого рассказа настолько ободрил писателя, что в следующем году, когда «Крестьянка» объявила конкурс на лучший рассказ, он согласился принять в нем участие. С присущим Анатолию Иванову умением смотреть на собственные неудачи в прошлом юмористически, он позднее так опишет этот эпизод из своей жизни: «Я подумал: приму и получу первую премию! И написал «Алкины песни». Но... первую премию получил Ю. Рытхэу... А мне спустя много времени рассказ вернули с гневом: героиня моя, писали мне, девушка пошлая, отбивает мужа у чужой жены, наглая; рассказ весь сюсюкающий и т. д. А после, когда я писал «Повитель», этот рассказик кормил меня до-олго! Мне Новосибирский ТЮЗ предложил по рассказу написать пьесу. Я написал, она лет пять шла в этом

театре с громом... Потом даже опера была поставлена на этот сюжет по моему либретто (в Новосибирске)»

Было и еще одно «потом»: опубликованный в 1956 году на страницах журнала «Сибирские огни», рассказ «Алкины песни» вместе с рассказами «Дождь». «Без утайки» (напечатан в 1956 году в «Крестьянке») и другими (всего семь) составил первую книгу Анатолия Иванова и дал ей название. К этому следует добавить, что именно в рассказе «Алкины песни» впервые, пусть еще робко, но ощутимо проявилась способность автора отыскивать в жизни характеры интересные, цельные, а в разработке их прибегать к смелым до неожиданности поворотам, не приглушая драматизма жизни. Никакой пошлости в главной героине рассказа нет, как нет и сюсюкания в повествовании. Есть же удивительная чистота и величие прекрасной даже в страдании души человека, предпочитающего обречь себя на пожизненную муку, чем обездолить, лишит радости других, в особенности детей. Все остальные произведения, вошедшие в первую книжку писателя, воспринимаются как недурные зарисовки, не более того.

Всего этого было чересчур мало, чтобы работа над первым романом далась Анатолию Иванову сама собой. «Я работал в районной газете, —



рассказывал он мне о том, как возникал, формировался замысел «Повители», — случайно в колхозе одном встретил человека, сидящего в сенокосную пору в холодке. Смотрю — пьяненький, что-то рассказывает двум трезвеньким. Потом узнал, что это заместитель председателя колхоза (были тогда и такие должности), что он вообще пьяница, фамилия его — Бородин, что у него полдеревни родни, они-то его на отчетно-выборных собраниях и выкрикивают в заместители председателя и проводят голосованием. Колхоз же! Человек этот был злой, обиженный чем-то, плохо жил с женой (бабник), с сыном.

Я решил написать о нем, об этой семье небольшую повесть — конфликт сына с отцом. Что-то я написал, отнес в «Сибирские огни». Там почитали и спросили — а в чем, собственно, суть конфликта у них?

Вот этот конфликт я долго пытался изобразить, не помню уже, что придумывал. Повесть росла в объеме, из современности все больше углублялся в ранние годы Советской власти, а конфликта не было. Раза четыре я показывал повесть в «Сибирских огнях», и все мне ее возвращали для переделок, для разработки этого конфликта.

И вдруг я в газете прочитал сообщение (в

«Советской Сибири»), что на свалке в одной из сибирских деревень нашли выброшенный кем-то ржавый кулацкий обрез. Вот тут-то меня и осенило — кто хранил до сего времени, зачем хранил, почему решил разоружиться? Повествование пошло еще более в глубь времени, началось с 1915 года».

Писатель докопался до социальных основ увлекшего его воображение конфликта. И сразу раздвинулись жизненные рамки, позволив сблизить на первый взгляд явления далекие друг от друга, такие, как, с одной стороны, собственничество, стяжательство, карьеризм, с другой — общественная апатия, инертность, антиобщественное поведение, пьянство. А это, в свою очередь, наталкивало на смелые социально-философские обобщения, создавая прочную основу для глубокого художественного проникновения в сущность изображаемых явлений. «По-моему, — размышлял писатель, — противоречия нашего общества гораздо глубже и серьезнее, гораздо сложнее, чем мы порой объясняем это в своих книгах, и причины существования многих и многих отрицательных героев надо искать в противоречиях социального плана».

Так в ходе работы над первым романом кристаллизовалась одна из главнейших особенностей всего последующего творчества

писателя — ясная социальная обусловленность всего, что он изображает. Это тем важнее отметить, что и «Повитель», и «Тени исчезают в полдень», и первая книга «Вечного зова» создавались автором в период, когда в советской литературе проявилась тенденция, о коей М. Алексеев, выступая с докладом о прозе российских писателей, вынужден был с горечью сказать: «.. С некоторых пор социальное, гражданское, народное и партийно-классовое начала в нашей литературе, всегда имевшие решающее значение, в творчестве отдельных наших писателей, несколько приглушились, стали проявляться не столь страстно и взволнованно, их все чаще стали заменять иные звуки, скорее интимные, камерные, обращенные прежде всего к собственному изысканному вкусу, к своей утонченно-эстетской душе»<sup>3</sup>.

Когда журнал «Сибирские огни» опубликовал роман «Повитель», наиболее авторитетный из критиков того времени А. Макаров напечатал в журнале «Знамя» обширную, выдержанную в хвалебных тонах статью; в первом же абзаце ее роман квалифицировался как «необычный в

---

<sup>3</sup> Пятый съезд писателей СССР. 29 июня — 2 июля 1971 года. Стенографический отчет. М., «Советский писатель», 1972, с. 393.

современной литературе». И хотя в ходе конкретного разбора романа авторитетный критик указывал на отдельные просчеты, но при всем этом считал «роман положительным и незаурядным явлением в нашей литературе». Рецензенты и критики, писавшие о романе на страницах «Коммуниста» и «Нового мира», «Звезды» и «Вопросов литературы», «Урала» и «Дальнего Востока», разделяли подобную оценку «Повители». Неудивительно, что роман принес автору всесоюзную известность, сразу же был замечен за рубежом, переведен на болгарский, чешский, словацкий, румынский, французский и другие иностранные языки.

В «Повители», так же как во всех последующих произведениях, основное внимание Анатолия Иванова приковано к современности. Если он обращается к прошлому, то лишь постольку, поскольку туда уходят корни волнующих его явлений. Однако в современности не все интересует его в равной мере.

Одну из своих излюбленных мыслей крупнейший писатель нашей эпохи Л. Леонов в последний раз выразил так: «Каждый большой художник сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он развязывает на протяжении всего творческого пути. Недаром

говорят, что существует проблема Гоголя, проблема Толстого, проблема Горького»<sup>4</sup>. Есть все основания утверждать, что существует также проблема Шолохова, проблема Леонова. Из новейших писателей к такому же выводу подводит изучение творчества Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Василя Быкова, Валентина Распутина...

Существует и проблема Анатолия Иванова. К ней он возвращается на все более высоких витках своего художественного развития и в романе «Повитель», и в эпическом повествовании «Тени исчезают в полдень», и в романе-эпопее «Вечный зов». Жизненное явление, ею охватываемое, слишком значительно, многократно и многоветвисто, с беспрецедентно глубоко и широко раскинувшимися корнями, чтобы вместиться в одном слове. Быть может, вернее говорить даже не о жизненном явлении или явлениях, а об одном из двух начал бытия, в конечном счете сливающимся с тем, что с давних пор именуется «злом», «тьмой», в противовес другому, сливающимся с понятиями «добро», «свет», «человечность». Речь идет прежде всего о том, что экономисты называют «частнособственническим началом», в процессе исторического развития превращающимся в силу,

---

<sup>4</sup> «Литературная газета», 1974, 14 августа.

разрушающую самые основы человечности на Земле. Подрубленное в нашей стране под корень, это начало не засыхает сразу. Одну из опаснейших его разновидностей Анатолий Иванов метко сравнил с сорняком, вдруг, почти необъяснимо высовывающимся рядом с бледноватыми стеблями человеческих посевов. «Он коварно выжидает время. Когда растения немного разовьются и окрепнут, он осторожно высовывает наружу свое бледноватое тело.

Несколько дней они спокойно растут рядом. Враг, кажется, не обращает внимания на зеленое растение. Потом начинает тянуться к молодому стебельку, обвивается вокруг него раз, другой, третий, впивается бесчисленными присосками и теряет связь с землей. Теперь молодое растение кормит его своими соками. А само постепенно чахнет, желтеет...

Этот враг именуется повиликой. Жители Локтей зовут его несколько иначе — повитель.

Наиболее зараженные повителью участки посевов колхозники выкашивают раньше, чем созреют семена повилики. Другого выхода очистить поля от этого сорняка нет».

Вот к этому началу и приковано внимание Анатолия Иванова во всех до сих пор написанных им произведениях. Берется и изображается оно в бесконечно разнообразных видах, неизменно в

непримиримых схватках с другим, противоположным началом, показывается тотально, как выражение мировых катаклизмов, и вместе с тем предельно конкретно. В результате читатель ощущает в очень колоритных, ярких сценах обычной сибирской жизни отражение социальных гроз и ураганов, потрясающих в XX столетии весь мир. Кроме прямого смысла, рисуемые Анатолием Ивановым картины несут в себе еще и гигантские обобщения, вернее, поднимаются до таких обобщений, отчего часто воспринимаются как грандиозные символы.

Глубоко социальные, так сказать, органически социальные по своему смыслу произведения Анатолия Иванова захватывают нас диапазоном своего общечеловеческого наполнения. Писатель рассказывает о жизни сибирских крестьян, вернее, о жизни выходцев из сибирского крестьянства. Однако обуревающие их чувства, страсти, их вожделения оказываются характерными для самых разных социальных слоев в эпоху перехода от капитализма к социализму и коммунизму.

Возвратившись к эпохальным закономерностям и социальным конфликтам, исходя из которых или на основе которых М. Шолохов, А. Толстой, Л. Леонов, А. Фадеев строили свои произведения о гражданской войне и созидании первого в мире социалистического

государства, рассмотрев под тем же углом зрения всю последующую нашу жизнь, Анатолий Иванов обнаружил в самых острых социальных явлениях колоссальный общечеловеческий потенциал, что позволило ему создать крупные, взволновавшие миллионного читателя характеры как строителей новой жизни, так и смертельных врагов ее. При этом с редкостной смелостью, а часто просто дерзостью он использовал право искусства на художественное сгущение, преувеличение, обострение, заострение и жизненных ситуаций, типических обстоятельств, в которых действуют изображаемые им лица, и самих действующих лиц, поскольку такое преувеличение, заострение не искажает правды жизни, но делает ее рельефнее, эстетически убедительнее.

Обратившись к творчеству Анатолия Иванова, мы погружаемся в мир необычайно острых конфликтов, предельно напряженных ситуаций, самых яростных интеллектуальных, нравственных, физических столкновений. Здесь кипят страсти, сшибаются люди разных убеждений, пуская в ход пушки, пулеметы, автоматы, обрезы, наганы, кулаки, зубы. Дыхание смерти тут ощущается почти с такой же силой, как дыхание жизни. Здесь нет людей равнодушных, безучастных, ибо рушится один мир и создается другой. Люди гибнут в исторических битвах, часто не сознавая этого



полностью, уносятся социальными вихрями в небытие. И рождаются новые люди, растут, крепнут, строят жизнь на принципиально иных основах, перевоспитывая миллионы себе подобных, родившихся в другом мире и зараженных его идеологией, его предрассудками и предубеждениями. К каждому писатель подходит с самым крупным масштабом, ставя перед ним вопросы: «Кто ты? Зачем живешь?» И это вопросы, диктуемые самим временем, крутым поворотом в историческом развитии человечества. Большинство встает на новый путь, но немало и таких, кто пытается до конца противостоять историческому напору новых социальных сил и их устремлений. Схватки между ними беспримерно жестоки не только в тех случаях, когда старый мир, выступая в облике белогвардейщины, фашизма, милитаризма, пытается сломить новую силу, но и тогда, когда, как ржавчина, разъедает те человеческие души, что поражены тысячелетним микробом частной собственности.

Художник, как сказано, сознательно идет на предельное укрупнение, заострение и жизненных ситуаций, и художественных характеров. Изображаемые им защитники «собственного хозяйства, собственных амбаров и лавок» в ненависти к Советской власти, к новому строю жизни не знают удержу, не останавливаются ни

перед чем. Писатель тоже не сдерживает их ни в чем, подробно рассказывает об изуверстве и страшных истязаниях, которым они подвергали в годы гражданской войны и коллективизации коммунистов, комсомольцев, а в эпоху Великой Отечественной войны, поступив на службу к фашистским оккупантам, — советских военнопленных и мирных жителей на территории, временно подпавшей под иго гитлеризма. Кое-кто упрекает Анатолия Иванова в перенасыщении повествования сценами купеческих разгулов, белогвардейских и кулацких зверств, фашистских изуверств. Никто, однако, не спорил с тем, что такие сцены опираются на реальные факты жизни, в свое время преданные гласности самими купцами, белогвардейцами, фашистскими генералами и их прислужниками. Некоторые из реальных фактов привлекали внимание литературы и раньше. Достаточно назвать в прошлом «Рассказ о необыкновенном» М. Горького, повесть «Перегной» Л. Сейфуллиной, роман «Два мира» В. Зазубрина, а в наше время «Я из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника или вспомнить о леденящей до сих пор нашу кровь казни фашистами советского генерала Карбышева. В творчестве Анатолия Иванова эта правда о старом мире выступает выпукло, в предельной художественной концентрации. По глубокому

убеждению писателя, только так можно по-настоящему донести до современного читателя беспримерную жестокость, бесчеловечность, изуверство, посредством которых мир эксплуататоров, издыхая, пытается продлить свое пребывание на исторической арене. Более того, писатель тем самым внушает читателям, что ни Освенцим, ни Маутхаузен, ни индонезийская резня 1965 года в этом отношении не являются пределом бесчеловечности старого мира, что подлость его не имеет и не будет иметь границ. Жесткость, даже жестокость реализма Анатолия Иванова определяется тем материалом жизни, с которым он имеет дело. Суровость писателя — суровость самой изображаемой им правды жизни, о чем еще М. Горький памятно говорил: «Как всякая правда — художественная правда жестока, она даже более жестока, чем всякая иная. Это так и следует»<sup>5</sup>. Что же касается сгущения, преувеличения, заострения, то они всегда были обязательными в подлинном искусстве. «*Dichtung ist Verdichtung*»<sup>6</sup>, — говорил Гёте. Настаивая на этом праве художников XX столетия в особенности, М. Горький писал, что

---

<sup>5</sup> «Литературная учеба», 1978, № 4, с. 116.

<sup>6</sup> «Искусство есть сгущение» (нем.).

«подлинное искусство обладает правом преувеличивать, что Геркулесы, Прометеи, Дон-Кихоты, Фаусты — не «плоды фантазии», а вполне закономерное и необходимое поэтическое преувеличение реальных фактов». Поднимаясь к теоретическим обобщениям, он доказывал, что социалистический реализм «должен мыслить гипотетически, а гипотеза-домысел — родная сестра гиперболе преувеличению...»<sup>7</sup>. Возникает вопрос: в какой мере и до какой степени художник имеет право на преувеличение, заострение, сгущение, концентрацию жизненных явлений в искусстве? В той мере и до той степени, пока не нарушается то «чуть-чуть», что заставляет читателя неотрывно следить за каждым шагом основных героев писателя. Впрочем, читатели легко прощают писателю «издержки» гиперболизации ради той большой правды, которую неизменно заключают создаваемые им характеры, тем более что вместе с автором вынуждены каждый раз докапываться до нее. Анатолий Иванов умеет заинтриговать читателя не столько сюжетом, сколько тайной характера героев, искусством рисовать людей так, что мы долго не можем догадаться, кто же перед

---

<sup>7</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т. Т. 27. М., Гослитиздат, 1953, с. 255.

нами на самом деле, что за человек и чем движим в жизни своей. В повествовании «Тени исчезают в полдень», в романе-эпопее «Вечный зов», в повести «Жизнь на грешной земле» это проявилось в особенности. Проявилось еще и потому, что для самого писателя почти каждый человек — загадка, каждый по-своему интересен и многогранен, если можно так выразиться, не одна страница, которую можно сразу охватить взором, а целая книга, порой для прочтения требующая колоссальных усилий.

Как бы то ни было, созданные Анатолием Ивановым характеры привлекли к себе всеобщее внимание, породили неутихающие споры и среди читателей, и среди литературных критиков. Когда начался показ созданного по роману-эпопее «Вечный зов» многосерийного телефильма, посыпались столь противоречивые отзывы, что руководители телевидения прервали демонстрацию картины. Немало им потребовалось времени, чтобы заново просмотреть каждый кадр и, убедившись в его жизненной бесспорности, продолжить демонстрацию. Надо сказать, что перерыв в показе вызвал не меньший поток писем телезрителей с требованием продолжить показ фильма — явление все-таки редкостное в наше время, несмотря на то, что в последние десятилетия, кажется, не появилось ни одного крупного произведения, которое бы не экранизировалось.

Разожженные показом телефильма, споры зрителей взволновали литературных критиков, ученых, поставив ряд серьезных вопросов. В них, в этих спорах, наряду с признанием недюжинной талантливости Анатолия Иванова высказывались, чаще всего в форме вопросов, сомнения, а прав ли писатель, сосредоточивая главное внимание на отрицательных явлениях нашей жизни. Не нарушает ли он принципов социалистического реализма, до предела заостряя в характерах такие тенденции, как всепоглощающее чувство частной собственности или ненависть к новому миру? Не преувеличивает ли жестокость жизненного развития? И вообще, не лежит ли жестокость в основе и его мироотношения, и его таланта? Отвечая на эти сомнения и вопросы, критики и литературоведы, почти единодушно признавая, что писатель любит «замешивать» свои произведения «круто», создает их на «жестоких контрастах света и тени», рисует «сильные характеры, вовлеченные в стремительные и трагические события», склонен к резким, часто изломанным фабульным линиям, угловатым ситуациям, неожиданным поворотам в человеческих судьбах, пользуется «сильнодействующими художественными средствами», что для его произведений показательна «динамичность повествования», «трагедийная напряженность действия», «накал

страстей»<sup>8</sup>, единодушно отвергали упрек в жестокости таланта. «Суровый, порой жестокий мир произведений Анатолия Иванова основан на подлинной доброте»<sup>9</sup>, — справедливо утверждал Б. Леонов. Доброта писателя исключает все подлое, низкое, грязное, фальшивое (вплоть до благополучных стереотипов в литературе), и потому-то она такая суровая. Еще одно тому доказательство критики находили в написанной Анатолием Ивановым в просвете между первой и второй книгами «Вечного зова» превосходной повести «Жизнь на грешной земле». Как бы отвечая тем, кто говорил, что писатель не всегда бывает экономным на слово, Анатолий Иванов написал ее предельно экономно, почти конспективно, отчего внутренний динамизм приобрел предельную напряженность, не помешав писателю совершенно реальный конфликт между Павлом Демидовым и Денисом Макшеевым разработать многолинейно, так что он, этот конфликт, не теряя своей

---

<sup>8</sup> См. статьи: А. Байгушева в журнале «Москва», 1978. № 5; Д. Жукова в «Нашем современнике», 1978, № 5; предисловие Б. Леонова к изданию: Анатолий Иванов. Избр. произв. в двух томах. М., «Молодая гвардия», т. 1, 1974.

<sup>9</sup> Названная выше статья, с. 9 — 10.

обыденности, выступает как олицетворение ожесточенной борьбы двух миров. Человек драматической судьбы, Павел Демидов на безумно извилистых путях своего бытия сумел сохранить веру и в нашу жизнь, и в наших людей, в то, что «на земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами». Даже когда почти не в состоянии ему было ходить по земле, он верил все-таки, что «не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого». Открывая приемному сыну Гриньке глаза на красоту и доброе отношение земли к человеку, он говорит: «Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе — человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?.. Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет у тебя душа... Какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость».

Автор «Повители», «Вечного зова» обладает завидным умением воплощать емкое социальное и вместе с тем общечеловеческое содержание в колоритных, многогранных характерах, будь то жаждающие разбогатеть отец и сын Бородины, деревенский лавочник Лопатин, староста Гордей Зеркалов и его сын Терентий или медленно, но неотвратимо втягиваемые ссыльным революционером Федором Семеновым в борьбу за создание жизни на совершенно новых основах деревенские труженики Андрей Веселов и его



невеста, а потом жена Дуняшка, Павел и Анна Тумановы, Тихон Ракитин, Степан Алабугин, Федот Артюхин из «Повители»; братья Меньшиковы, Устин Морозов, Серафима Клычкова и противостоящие им Марья Воронова, Захар Большаков, Филимон Колесников из эпического повествования «Тени исчезают в полдень». Анатолий Иванов рисует их образы широкими мазками крупной кисти, до предела заостряя доминанты в характерах; ставя героев в острые, порой исключительные ситуации, заставляет их совершать самые ошеломляющие поступки, порождающие у читателя ощущение: «Они еще и не на такое способны...»

Можно спорить о том, сумел или не сумел передать «внутренние бездны», отличающие многих героев Анатолия Иванова, художник Николай Усачев, одним из первых попытавшийся иллюстрировать произведения «Повитель» и «Тени исчезают в полдень». Но нельзя не понять, почему на всех иллюстрациях герои этих произведений, воссоздает ли художник образы Григория Бородина или Андрея Веселова из «Повители», Устина Морозова, Фрола Курганова или Захара Большакова, Филимона Колесникова из «Теней», изображаются людьми дюжими, широкими в плечах, обутыми в сапоги. Внутренняя добротность, прочность, упорство, неотступность

отличают на рисунках Марью Воронову, Евдокию Веселову, Петьку Бородина, Федьку Морозова, Иринку Шатрову. Даже постоянная погруженность Фрола Курганова в мучительные думы, попытка уловить все время ускользающую мысль, от которой зависит его жизнь, не расслабляют все-таки его богатырской фигуры. И это одна из самых важных особенностей творческой манеры Анатолия Иванова.

## 2

Снедаемый жаждой разбогатеть, Петр Бородин-старший зарубил в лесу цыгана из-за мешочка с золотом. Тем же топором, не закричи жена Арина, он мог прикончить и сына Григория, чтобы избавиться от свидетеля. Он отказывается отвезти тяжело больную Арину в больницу. «Ей в больницу, а нас с тобой в тюрьму! Слышал, что она в горячке мелет?» — сказал отец Григорию. И когда лишенная помощи жена умирает, сын думает: «Однако он правильно рассудил, батя-то...»

Уже из этой детали видно, что, несмотря на постоянные стычки между отцом и сыном, всегда угрожающие жизни то того, то другого, люди эти одного поля ягоды. Сын твердо усваивает наставления отца, повторяющего, что «человек — зверь», «люди — волки лютые», а в жизни самое

главное — взять свое: «разбогатеть, возвыситься над людьми», чтобы командовать ими, втапывая в грязь неугодных. С присущим Анатолию Иванову умением находить по видимости очень простые, по содержанию очень глубокие, поливалентные сравнения и характеристические детали, часто становящиеся лейтмотивными, о Петре Бородине говорится: «Мысль «выбиться в люди», разбогатеть, стать крепким хозяином сидела в Петре, как гвоздь в бревне. Глубоко кто-то загнал этот гвоздь в дерево, по самую шляпку, прижавел он там, и уж не вытащишь его никакими клещами. Шляпку сорвешь, а гвоздь все-таки останется внутри. Разве вот расколоть бревно надвое...»

Эта же черта доминирует и в характере Григория Бородина. Она является как бы врожденной, что хорошо передается такой меткой художественной деталью: у Григория длинные тонкие руки, кончающиеся широкими, как лопата, клешнястыми, но цепкими ладонями, которые он во все критические минуты инстинктивно то сжимает, то разжимает. «Что уж возьму — намертво. Никто не выдернет, не отберет», — похваляется он.

«Этот мрачный образ «человека из подполья», его семейное и бытовое окружение — большая удача А. Иванова»<sup>10</sup>, — писал В. Дорофеев, одним

---

<sup>10</sup> «Вопросы литературы», 1959, № 2, с. 37.

из первых достойно оценивший талант писателя. Так же как отец, Григорий Бородин видит смысл жизни в том, чтобы стать богатым, жениться на полюбившейся ему соседской дочке Дуняшке и зажить «хорошо, удобно, уютно». Сначала, казалось бы, все шло к этому, отец быстро «набирал землю», прикупал скот; Григорий «ходил по деревне не торопясь, вразвалку, спрятав руки в карманы». Полным ходом шло строительство нового дома, а потом и лавки. Но грянула революция, и все полетело под уклон. Пытаясь «повернуть на старое», Григорий идет в тайное услужение к колчаковцам, выслеживает по их заданию партизанский отряд Андрея Веселова, а в годы коллективизации вместе с Терентием Зеркаловым поджигает колхозные постройки, покушается на жизнь колхозных активистов, надеясь, как подсказывает ему однодумец, подрубить под самый корень дерево новой жизни. Ему энергично помогает отец, которого теперь уже боится и все яростнее ненавидит Григорий как свидетеля собственных преступлений. Вот почему, когда умер отец, Григорий не испытал ничего, кроме облегчения. И с беспримерной жестокостью убрал другого свидетеля — Терентия Зеркалова. Григорий Бородин тем более жесток, что от

---

природы труслив, да и о силе его когда-то правильно сказал ему Андрей Веселов: «У тебя вся сила в руках, как у рака в клешнях... А ударь тебя по лбу — ты с копыт долой...»

Но сущность Бородина-младшего не исчерпывается ни трусостью, ни наглостью, ни жестокостью. По-своему, например, он верен первой и единственной любви к Дуняшке. Он где надо увертлив, где надо осторожен и предусмотрителен. Поражают упорство, настойчивость, с какими, проходя через неудержимые исторические вихри, он пытается осуществить главную свою мечту, а убедившись в безнадежности затеи, изобретательно мстить тем, кто, как он считает, сломал ему жизнь. Хитро ведет он к развалу колхоза, пробуждая, подогревая, раздувая в людях желание получить за собственный труд побольше, а когда и это не удается, готов уничтожить собственного сына, чтобы тот не достался строителям нового мира. «Жизнь прожита, а что нажито? — говорит он про себя. — Ничего. Умру — и не останется от меня следа... Петька вот только, сын... Все взяли, сволочи, все. А сына? Ну нет, сына-то уж не отдам...» И он делает все, чтобы сломать волю сына, сделать его послушным волчонком. Однако вне дома на Петра влияют противоположные силы. Критик А. Макаров считал Петра самой интересной фигурой в романе. «Это

так, — писал он, — потому что Петр — фигура в литературе новая. Ни сходных ему по поступкам, ни каких-то даже отдаленных аналогий этой фигуре мы не найдем»<sup>11</sup>.

Умение Анатолия Иванова создавать выразительные характеры людей, насмерть пораженных идеей частной собственности, не раз заставляло критиков вспоминать «Поднятую целину» М. Шолохова. Надо добавить, что запоминаются и встающие со страниц произведения талантливого писателя характеры строителей новой жизни, например первого председателя колхоза Андрея Веселова, его жены Дуни.

Безупречно, с искусным использованием опыта русской классики, в частности опыта Л. Леонова, вычерчивается в романе «Повитель» психологическая кривая взаимоотношений Григория Бородина и Евдокии Веселовой. Влюбившийся в нее раз и навсегда, Григорий на коленях упрашивал Дуню выйти за него замуж, обещал носить ее на руках, но был отвергнут. Она предпочла бедняка Андрея Веселова. Долго надеялся Григорий, что Дуня передумает или же обстоятельства жизни вынудят ее прийти к нему. Не дождавшись I ни того, ни другого, стал

---

<sup>11</sup> А. Макаров. Идущим вослед, с. 788.

проникаться к ней ненавистью. На посту председателя колхоза он использует любой повод, чтобы унижить, оклеветать, сломить ее.

На мой взгляд, психологические поединки Григория Бородина и Евдокии Веселовой — самое лучшее, что есть в романе. Энергично, с редкой целеустремленностью разрабатывая главный конфликт в произведении, придавая ему предельную остроту и исключительную динамичность, Анатолий Иванов не ограничивается его сольной партией, а реализует в многоветвистом сюжете, подключая как можно больше дополнительных мелодий и вариаций. Да и развитие центральной мелодии предпринимается, сопровождается, осложняется множеством лейтмотивов, рефренов, сцен-ретроспектив, повторяющихся ситуаций, пейзажных зарисовок и целых картин, заключающих в себе глубокий символический смысл, но выполненных неизменно в добротной реалистической манере.

В романе «Повитель» есть отличное сравнение поведения Григория Бородина с повадками лисицы, преследуемой собаками, но вновь и вновь возвращающейся к хищничеству, едва ослабевают преследование. Отпечатываются в памяти многозначные картины-запевки, открывающие третью и четвертую части романа. При исключительной внутренней весомости, даже

тяжеловесности, глыбистости, что ли, всего, что и как изображает Анатолий Иванов, оно обладает совершенно своеобразной красотой и поэтичностью, подкупая читателя обилием точно увиденных деталей, несущих опять таки в себе самые широкие обобщения. Для примера можно сослаться на описание пробуждающейся земли в четвертой части «Повители» (когда земля «начинает тихонько, незаметно для человеческого глаза, шевелиться»), заканчивающееся цитированным выше рассказом о том, как к нежным растениям начинает тянуться повитель. Конкретно этой «увертюрой» предваряется драма Петра и Поленьки Веселовой, порождаемая отношением Григория Бородина к сыну. Но в глубинах своих картина содержит и главный смысл всего повествования. Не случайно именно слово «повитель» оказалось вынесенным отсюда в название произведения.

И наконец, «лица не общее выраженье» автору «Повители» придает язык его персонажей. Мало сказать, что герои говорят ярким, сочным языком, что диалоги и монологи насыщены всегда к месту употребляемыми пословицами, поговорками, блещут оригинальными афоризмами. В их речах много корневого, идущего из самых глубин жизни и потому очень мудрого.

Отрицательные персонажи у Анатолия



Иванова тоже обладают каждый своим неповторимым, часто сжатым, как пружина, языком. С ними не соглашаешься, но многие их фразы, целые монологи навсегда застревают в памяти.

Авторская речь уже в «Повители» изобилует оттенками, начиная от сурово-обличительных, резких, порой грубоватых и кончая нежными, почти застенчивыми, как вот в этом описании приближающегося вечера: «Солнце, насветившись за день всюю, где-то за горизонтом неторопливо готовилось к заслуженному отдыху. Оно, невидимое уже людям, посвечивало там устало, чуть-чуть, только для себя. Но и этот свет, поднимаясь с земли, окрашивал небольшой кусочек неба прозрачной желтоватой краской.

Молодое облачко, никогда в жизни не выдавшее еще, где и как устраивается на ночь солнце, торопливо подплыло к освещенному краешку неба и с любопытством глянуло вниз, на землю. Облачко, кажется, не могло еще отдышаться и было розоватым, как лицо ребенка после быстрого бега...»

### 3

Возвращаясь к волнующей его проблема в следующем произведении — «Тени исчезают в

полдень» (1963), Анатолий Иванов, во-первых, придает ей глобальный масштаб, заглядывая далеко за горизонт, показывая, как переплетаются корни чуждых нашему строю элементов с корнями самых темных сил капиталистического мира, во-вторых, находит новые смелые повороты как в освещении многих жизненных ситуаций, уже испробованных в первом романе, так и в углублении характеров, разработанных в «Повители». И создает много новых. Некоторые из них, например характеры Серафимы-Пистимеи, Фрола Курганова, Анисима Шатрова, — настоящие художественные открытия. «Мне хотелось проследить, — раскрывал замысел произведения «Тени исчезают в полдень» сам автор, — как трансформируется классовый враг в условиях современного социалистического общества. Религиозная же среда — это та среда, в которой, как мне кажется, моим отрицательным героям было бы легче укрыться и удобнее всего действовать. Разумеется, сами они не верят в бога... Я убежден, что Пистимея в романе как раз такая, какой была задумана, то есть неверующая. Ее даже нельзя отнести к сомневающимся. С ранней юности ей ясно, что бога нет... Революция разрушает ее мечты, лишает баснословного состояния. Воля, ум, все помыслы Серафимы теперь направлены на одно — схоронить ненавистную ей народную власть, а если сокрушить не удастся, то, по крайней мере,

мстить, сеять зло среди тех, кто эту власть поддерживает».

И в другой раз: «Если Бородин — враг нового общества стихийный, что ли, не очень-то сознательный, то ведь есть, и немало, врагов сознательных, не примирившихся с нашей идеологией ну никак, — то есть враги очень уж фанатичные. Кто они, как дожили до нашего времени, где, в какой среде живут, что делают? Вот одну, только одну из этих сред я попытался показать, один, только один тип врагов, доживших до начала 60-х годов. А религиозная среда — там, где я жил в детстве и юности, — ее было достаточно. Многих из описанных людей я видел в том или ином обличье, многое, конечно, взял из документов областной организации по делам религии и всяких сект, я знакомился с этими материалами. Вот сцена встречи Сидора Фомичева и Федора Морозова вымышлена, но все факты и случаи из жизни сект, описанные в романе, — реальные, все они происходили в том или другом месте в то или иное время (50-е годы)».

Защитники и апологеты старого мира, «жестокие, изощренные», оперативно меняют одно оружие на другое, так же как средства прикрытия своей деятельности. Когда из их рук были выбиты пулеметы, а их армии рассеяны, они взялись за обрезы и принялись изводить Советскую власть

исподтишка, умело шантажируя людей, допускавших ошибочные шаги в годы открытых классовых боев, используя слабости одних, предрассудки других, не брезгуя ни клеветой, ни сплетней. Сын заволжского хлеботорговца и организатора шайки, стремившийся «под корень вырубить большевистскую заразу», Костя Жуков проходит выучку в банде сибирского богатея Фильки Меньшикова, дав клятву всю жизнь мстить тем, из-за кого «черным густым дымом уплыл в небо стоявший на самом волжском берегу большой, просторный, на каменном фундаменте, двухэтажный дом, в котором вырос он, Костя Жуков, уплыли амбары и завозни. Все это их собственные батрачишки облили керосином и подожгли». Не один год возглавляемые Филькой Меньшиковым, Костей Жуковым да несостоявшимся лавочником Тарасом Звягиным банды «темными ночами, а иногда и днем врывались в села и поселки, стреляли детей и женщин, рубили стариков, кидали гранаты в окна, поджигали дома и скакали прочь». Они «гуляли» по Заволжью, и в предгорьях Южного Урала, и за рекой Белой. Не раз, зажатые в тиски красноармейскими частями, Филька, Костя коварно отправляли на смерть всех своих сообщников, лишь бы самим уйти от погони воровскими тропинками. Уже в те дальние годы их ненавистью руководила

дочь богатейшего уральского купца и промышленника Клычкова Серафима. Потеряв все свои богатства, она сначала укрылась в монастыре, а позднее вошла в доверие к сектантам и, от поры до поры внося поправки в свои религиозные «верования», главенствовала и над хлыстами, и над баптистами, и над пятидесятниками, используя их для нанесения удара за ударом по тем, кто лишил ее золотых приисков и возможности повелевать людьми. Это с нею неизменно советовался Филька Меньшиков, замышляя жестокие преступления или попадая в безвыходные ситуации. Быть может, всего один раз он поступил самостоятельно, когда отправился в родные места и там вместе с братом Демидом, воспользовавшись почти неменяемым состоянием Фрола Курганова, выманил из дому первую председательницу коммуны Марию Воронову. Филипп и его брат выдавили ей глаза, а затем убили на утесе. Демиду удалось бежать и даже едва не убить еще одного деревенского активиста — Захара Большакова, а Филипп был схвачен, посажен под арест, откуда его выкрал Анисим Шатров и совершил над ним суд беспощадный. Заняв место Филиппа в банде Серафимы, Демид со своими сподручными убивал, сжигал живьем на кострах активистов новой жизни, их жен, детей. Банда бесчинствовала до тех пор, пока не попала в огненное кольцо. Но и на этот раз,

спровоцировав всех своих сообщников на самосожжение, Серафима Клычкова, Демид Меньшиков и Костя Жуков сумели уйти от возмездия. На заранее условленном месте их уже ждал новоиспеченный нэпман Тарас Звягин.

Где бы ни был Костя Жуков, какие бы испытания ни выпадали на его долю, он неизменно помнил «о своей усадьбе над Волгой, о добротных амбарах, доверху засыпанных тяжелой, холодной пшеницей. Вспомнив амбары, он вспоминал всегда почему-то Фильку Меньшикова, который оставил ему половину своей веры. Вспоминал и ясно чувствовал: он, если не подохнет сейчас с голоду, будет мстить за эти амбары с зерном вдвое, втрое беспощаднее и яростнее, чем мстил до сих пор, потому что... потому что деревце, выросшее из Филькиного семечка, не сломалось, не засохло. Оно разрослось, оказывается, за последнее время еще гуще, ветви стали еще крепче. Кровь и огонь, очевидно, были хорошим удобрением для деревца, а последняя зима, мыканье по лесу, ужасная ночь на островке и качающаяся льдина — все это закалило его ветви, превратило их в упругие стальные прутья. И теперь никому никогда не обломать их. Никогда! Разве вот по одному кто сумеет перекрутить их да повыдергать. По одному... И тем самым засушить все деревце, а потом вывернуть наружу подгнившие корни...»

Так он думает и в годы нэпа, и в годы коллективизации, и после того, как, убив переселенцев и воспользовавшись их документами, становится Устином Морозовым, Серафима — его женой Пистимеей, а Тарас Звягин — односельчанином Ильей Юргиним. По указанию Демида Меньшикова они поселились в его родном селе Зеленом Доле. «Значит, живя там, и будешь Захарке Большакову свеженькой соли под хвост ежедневно подсыпать, — говорил Демид, отставляя на траву жестяную кружку. — Я не хочу, чтобы он сразу подох, как Марья Воронова. Не-ет... Это просто повезло Марье благодаря моей молодости. Неопытный я был. Сейчас — не-ет... Пусть он всю жизнь стонет и корчится от боли, как та сельсоветская дочка на горячих углях. Он будет выползать из горячей сковородки, а ты его обратно. И пусть он хотя и безбожник, а взмолится богу о ниспослании ему скорой смерти. А смерти не будет. Действовать будешь не самолично, а через Фролку Курганова. Есть там такой... Я тебе скажу, как ключи к нему подобрать... И еще — Наталья там Меньшикова есть. Моя сродственница, к ней и ключа не надо. По обязанности должна везти в паре с Фролом... В общем, все это и будет теперь твое главное дело...» И добавил: «Но... еще раз повторяю — без шуму теперь придется. Без шуму большого дела не сделаешь? Что ж, будем

маленькими заниматься. Горячее обжигает, холодное морозит. Улавливаешь?

Он, Костя, не улавливал.

— Тогда поясню. От холода людям тоже не сладко. Будем отравлять им жизнь помаленьку. Кто засмеется — будем тушить этот смех и заставлять плакать. Кто заплачет — надо постараться, чтоб зарыдал...».

Воистину незабываемый образ ненавистника Советской власти, в изворотливости не уступающий шолоховскому Якову Островному, нарисовал Анатолий Иванов. Устин использует любой предлог, чтобы восстанавливать людей против старого коммуниста, бессменного председателя колхоза «Рассвет» Захара Захаровича Большакова, искусно держит в руках настоящего богатыря Фрола Курганова, не позволяя развернуться его недюжинным творческим силам.

В отличие от «Повителя», повествование в которой разворачивается хронологически последовательно, начиная примерно с кануна первой мировой войны и кончая серединой нашего столетия, «Тени» автор воздвигает на очень сложной платформе времени. Снова охватывая в конечном итоге жизнь полувека, но, однако, главное внимание сосредоточивает на событиях, происходящих в течение нескольких месяцев начиная с июля 1960 года. Повествование



предваряется очень динамичным прологом. Он переносит нас в душное лето 1915 года. То, о чем рассказывается в прологе, долгое время будет казаться не связанным с последующим повествованием, и только в конце все захлестнется мертвым узлом. Прочитав тринадцать глав из тридцати одной, мы так же, как Захар Большаков и Филимон Колесников, не можем ответить самим себе, что за люди Анисим Шатров, Фрол Курганов, Устин и Пистимея Морозовы. Каждый стоит особняком Каждый как будто что-то прячет в себе от людского глаза. Их манера держаться нередко настораживает людей. Сообщники они? Как будто нет. Скорее Фрол и Устин недолюбливают друг друга, Пистимее, занятой молитвенным домом, нет дела ни до того, ни до другого, Анисим же, напротив, взял как бы всех их под прицел, не вступая, однако, ни в какие отношения с ними. И так чуть не до середины романа. В отношении Фрола и Устина в лучшем случае мы готовы согласиться с тем, что о них говорят Большаков и Колесников:

«— Понимаешь, Филимон... Не кажется тебе: есть в Морозове что-то такое., чего не видим мы...

— Так и в Курганове Фроле есть, — проговорил Филимон. — Тот вообще... глаза от людей воротит. Везти везет, а голову всю жизнь набок, как пристяжная. Черт его разберет, почему!

С чудинкой человек...»

Вспоминая о том, что в прошлом у М. Шолохова, а в самое последнее время у В. Шукшина чудинка неизменно оборачивалась положительными качествами человека, мы готовы бы успокоиться, если бы не тревога, проявляемая и Большаковым, и Смирновым, и Шатровым: «Да, — шевельнулся Захар, — у каждого из нас своя чудинка. Иначе тихая жизнь была бы, как стоячее болото. Только, когда непонятно, что за чудинка, отчего она, — беспокожно как-то».

В умении рисовать людей в их подлинной сложности, заинтриговав читателя этой сложностью, несомненное достоинство Анатолия Иванова как писателя. Почти убедив нас в том, что и Фрол, и Устин, и Пистимея — люди как люди, не без недостатков, но и не лишённые несомненных достоинств, он все чаще разрывает повествование о текущих днях и событиях ретроспекциями — экскурсами автора и самих героев в их прошлое. И перед ошеломленным читателем раскрываются Анисим Шатров в подлинном благородстве и величии его души, Фрол Курганов в неповторимом драматизме его судьбы, а Устин Морозов в беспримерном зверстве его существа. Происходит это не вдруг, не сразу. Сначала автор приоткрывает завесу в драматическое прошлое Фрола Курганова, многого, самого главного пока недоговаривая.

Затем о своем прошлом рассказывает Анисим Шатров, тоже кое-что утаивая пока. В результате того, что Фрол и Анисим пропускают собственное прошлое перед своими глазами, читатель получает возможность глубже взглянуть в их внутренний мир, ощутить движение, развитие его, борение разных, порой противоположных мыслей и чувств. А то, что ни герои, ни автор не говорят самого главного, держит читателя до конца произведения в напряжении. С раскрытием характеров Фрола Курганова и Анисима Шатрова связаны наиболее сильные по своему драматизму сцены в романе, в частности, сцена гибели Марьи Вороновой, попытки Демида Меньшикова растерзать Захара Большакова и полностью проявляющая образ Анисима Шатрова сцена самосуда, учиненного им над Филиппом Меньшиковым.

Если Фрол Курганов и Анисим Шатров раскрываются главным образом через обращение их к своему прошлому, то образ Устина Морозова складывается из подробного авторского рассказа о его поведении начиная с приезда в Зеленый Дол, о работе в колхозе, отношении к нему колхозников и всех, кто с ним сталкивается. Что-то не позволяет никому из них до конца поверить Устину, на каждого из них от него «холодом несет». Но каких-либо прямых улик никто привести не может до тех пор, пока не сдадут нервы у самого Устина

Морозова. Уподобив в развернутом сравнении его волку, попавшему лапой в капкан, писатель заставляет наконец самого Устина оглянуться на свое прошлое. В психологическом отношении здесь делается немало интересных открытий. Чувствуя, как вокруг него сжимается кольцо, Устин Морозов видит и свое прошлое в форме уплотняющихся кругов. Привыкнув взвешивать каждое слово, помнить каждое слово, вслушиваться в слова окружающих, запоминая их навсегда, он теперь вновь и вновь вспоминает, повторяет про себя при каждом новом круге воспоминаний и сказанные прошлым летом слова Большакова о «тех, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели», и зловещее предупреждение Илюшки Юргина: «Кладка через речку качается-качается, да придет время, переломится», и его же намекающую фразу: «Ниточку от клубочка если потеряли где... хоть в гражданскую войну, хоть в эту... да если она в руки кому попалась...», и вчерашнее обещание Большакова Смирнову: «...с Устина теперь глаз не спустим». Как в вспышках магния, с предельной резкостью, без какой-либо растушевки выступают в романе основные звенья беспримерного по жестокости прошлого Устина Морозова, в прошлом Кости Жукова, а в годы последней войны немецкого старосты Сидора Фомичева. Если бы

автор не прерывал эти воспоминания, возвращая время от времени читателя в текущий день, в их жуткой атмосфере можно было бы задохнуться.

В страшной ленте, запечатлевшей все кровавые дела Устина Морозова, крупным планом дана его попытка сломить волю собственного сына еще в детстве, превратить во врага Советской власти, заставив его «мыслить, как я, делать то же, что я». Попытка закончилась тем, что, так и не сломив сына, Устин Морозов, перебежавший на фронте к гитлеровцам и ставший их старостой в деревне Усть-Каменке, в последний раз попытался поставить на колени сына, захваченного тяжело раненным в плен. Не добившись своего, Устин Морозов застрелил Федора.

Еще М. Горький подсказывал писателям, что подобная коллизия содержит в себе исключительные политические и психологические ресурсы и порождается спецификой развития человечества в двадцатом веке. Смело введя эту коллизию в свое эпическое повествование, Анатолий Иванов выявил новые грани в образе, разрабатывавшемся и до него многими писателями, и одновременно сумел показать полную бесперспективность старого мира, от которого уходит все человеческое.

Трагический образ Федора Морозова играет в романе вспомогательную роль. Он призван

оттенить всю меру падения, полного озверения Устина Морозова, лишённого каких-либо перспектив а жизни. Но он запоминается и как олицетворение того светлого, солнечного начала, за которое борется новый мир и которое отвоевывается у старого мира всюду и везде.

Однако после убийства сына Устину Морозову удалось уйти от возмездия, вернуться в Зелёный Дол и приняться за старое.

Теперь он действовал ещё более осторожно и изворотливо, но в душе неудержимо нарастал страх, пока не загнал в западню. Перебирая свою жизнь, Устин не раскаивается ни в одном преступлении и если воет, то только от сознания безнадежности и ещё от догадки, что всю жизнь был простым орудием в руках сначала Серафимы, а потом Демида Меньшикова. Он хватается за револьвер, прикладывает к уху, нажимает на курок и — от страха — теряет сознание (заржавевшее оружие не выстрелило). А на другой день встречается с Демидом Меньшиковым, сумевшим после успешной «деятельности» в Освенциме, Бухенвальде, Маутхаузене занять высокий пост в международном центре Общества свидетелей Иеговы. Всеми силами Демид стремится поднять веру Устина в то, что «Советской власти придет конец», что западногерманские реваншисты и американские милитаристы не остановятся и перед

атомной бомбой. «Может, и мы сгорим, — говорит он Устину, — я не знаю. Но, по мне, лучше уж сгореть, чем так вот, как сейчас... Пусть я сгорю, но пусть вместе со мной и все остальное пеплом возьмется, все. Все!!!»

Написанная в почти откровенно публицистической форме, встреча Устина с Демидом Меньшиковым не совсем органична в психологическом повествовании, связанном с показом распада личности Устина под прессом раздавливающего страха, но в ней заключено чрезвычайно актуальное для XX столетия предупреждение человечеству о маньяках, готовых ради сохранения своих «домов и амбаров», «если им удастся начать новую войну, если они возьмут верх в этой войне», сжечь и отравить в атомных «душегубках миллиарда полтора, а то и два» людей.

Устин Морозов, несмотря на полное крушение его надежд, не разоружается, сохраняя до конца верность беспримерной жестокости.

Не менее многогранны образы Ильи Юргина, Серафимы-Пистимеи, Антипа Никулина. При создании последнего из них проявилось очень своеобразное юмористическое дарование Анатолия Иванова.

Тут мы вплотную подходим к разговору о ведущем художественном приеме, с помощью которого писатель утверждает победную правду

нового мира. К ее утверждению он идет, говоря языком математиков, от противного. Выдвигая и в «Повители» и в «Тенях» на первый план убежденных противников Советской власти, Анатолий Иванов неотступно следует за ними, пока они не потерпят полного крушения. Попав в огненное кольцо, завывая и от страха, и от нестерпимой боли, «как тот волк, которому намертво прищемило лапу», Устин Морозов просматривает перед смертью звено за звеном свою жизнь и убеждается, что круг его единомышленников неостановимо редел, сук, на котором сидит Большаков, подрубить так и не удалось, дерево же, выросшее из Филькиного семечка, быстро теряло одну ветку за другой, их повыдергали, а корни сгнили.

Когда-то М. Шолохов, определяя специфический ракурс, избранный им в «Тихом Доне» для показа неизбежности всех попыток контрреволюции поворотить колесо истории вспять, сказал: «Правильно говорили, что я описываю борьбу белых с красными, а не красных с белыми. В этом большая трудность». Аналогичным ракурсом и определяемым им главным художественным приемом в значительной мере пользовался и М. Горький, показывая в «Жизни Клима Самгина» неизбежность Октябрьской революции. Этим же приемом охотно пользуется



Анатолий Иванов в романах «Повитель», «Тени исчезают в полдень», утверждая бесповоротную победу правды социализма на Земле.

Направляя почти весь свет в темные углы мира, Анатолий Иванов обладает способностью поддерживать у читателя ощущение реального соотношения периферийных явлений действительности с главным течением жизни. Образ-символ не поддающегося никаким бурям могучего осокоря на Марьином утесе, образы первой председательницы коммуны Марьи Вороновой, бессменного председателя колхоза Захара Большакова, редактора районной газеты Смирнова, рядовых колхозниц Клавдии Никулиной, Натальи Лукиной и особенно представителей молодого поколения — Иринки Шатровой, Ксении Лукиной, Федора Морозова, к которым в конце романа присоединяются из старшего поколения Анисим Шатров и Фрол Курганов, а из младшего Дмитрий Курганов и Варвара Морозова, делают это соотношение незыблемо прочным. В сущности, являясь исходным в творчестве писателя, оно позволяет Анатолию Иванову, рассказывая о самых негативных фактах современной жизни, никогда не попадать к ним в плен. Есть в романе «Тени исчезают в полдень» такая сцена: Захар Большаков, как-то сказавший Смирнову, что мы не в раю живем, а на грешной земле, смотрит с Марьиного

утеса на медленно, но неостановимо изменяющуюся родную деревню, и сердце его наполняется человеческой гордостью за великий труд неприметных с виду односельчан.

С такой же высоты в свете подвига вот этих людей и видит советскую действительность сам Анатолий Иванов. Больше, чем какой-либо другой писатель, он помогает своими произведениями выскребать грязь и мусор из всех уголков нашего дома. После М. Шолохова и Л. Леонова, сохраняя предложенную ими масштабность, он продолжает мужественный рассказ о всех тех трудностях, которые делают столь драматическим движение вперед народа, пролегающего дорогу всему человечеству к подлинному счастью. Бесстрашно воссоздавая самые сложные драмы и трагедии, он неколебимо верит, что у человечества нет других альтернатив. В изображении Анатолия Иванова наш путь суров, но благороден, труден, но человечен, исполнен драм, но героичен. Голос писателя своеобразен, но звучит в согласном хоре советской литературы. Напомню, что «Повитель» и «Тени» писались одновременно или вскоре после выхода в свет «Судьбы человека» и второй книги «Поднятой целины» М. Шолохова, «Русского леса» и «Евгении Ивановны» Л. Леонова, на одном историческом этапе с повестями «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» Ю. Бондарева,

повестью «На Иртыше» и романом «Соленая Падь» С. Залыгина, романом «Вишневый омут» и повестью «Карюха» М. Алексеева, наиболее реалистическими произведениями В Быкова, Ч. Айтматова, А. Нурпеисова..

Композиционно роман «Тени исчезают в полдень» построен более искусно, нежели «Повитель». Складывается конструкция, что будет повторена и в следующем произведении: после эпилога идет динамическое повествование об одном периоде современной жизни (в «Тенях» вторая половина 1960 — начало 1961 года), но с просмотром ее до самых глубочайших корней и обширный эпилог с исчерпывающим и даже излишне подробным рассказом о судьбе всех героев.

По-прежнему писатель щедр на художественные детали, многие из них повторяются, становясь своеобразными лейтмотивами: глаза Марьи Вороновой, прожигающие врагов и преданные друзьям, «из тех, что лучше закроются навеки, чем обманут»; скрываемый под окладистой бородой подбородок Устина Морозова, похожий на кирпич, на правильный четырехугольный брусок, и его же взгляд, всегда упирающийся в пол; холодные, жесткие пальцы Серафимы-Пистимей, словно раскаленные морозом железные прутья...

Некоторые из этих деталей становятся отличительным признаком персонажей, другие исходной точкой в психологической разработке характеров.

И по-прежнему писатель любит возвышать отдельные картины, сцены, пейзажи до значения глубочайших символов. Особенно емок образ могучего осокоря на гранитной вершухе утеса над Светлихой, по утрам горящего золотом. Он проходит с первых страниц произведения до последних, превращается в олицетворение мощи, силы и неколебимости Советской власти, нового мира. Неспроста Устин Морозов как бы в противовес ему тоже пытался олицетворить свою ненависть в образе дерева с железными ветвями-прутьями, но в конце концов сам же признал, что дерево его сгибло на корню.

Крепнет языковое мастерство Анатолия Иванова. Язык его персонажей переливается все большей многокрасочностью. Писатель не стесняется демонстрировать неисчерпаемость своих закров. Не раз в авторской речи даются такие подробности: «Скрылось, словно провалилось в бездну, солнце, и начал падать на землю сеногной — мелкий-мелкий дождичек. Его еще называют «мокрец» или «сеянец». Он шел день, другой, неделю..»

Главная проблема, постоянно волнующая Анатолия Иванова как писателя, художественные принципы ее разработки, композиционные приемы, стилевое своеобразие, собственный почерк, выявляющиеся в творческих исканиях, связанных с созданием «Повители» и «Теней», получают наиболее отчетливое выражение в новом произведении писателя — «Вечный зов» (кн. первая — 1970 г., кн. вторая — 1977 г.). Анатолий Иванов сумел с такой глубиной и широтой захватить жизнь, что «Вечный зов» вырос в роман-эпопею и по праву поставил автора в первый ряд крупнейших советских писателей.

В цитированном уже письме находим следующие подробности, относящиеся к замыслу романа «Вечный зов», к самому началу работы над ним: «Вечный зов» сразу задумывался таким, как есть, в 2-х книгах. Но писался тоже интересно. Сначала я написал финал, если можно так сказать, — рассказ «Случайная встреча». Конечно, там другие фамилии персонажей, но рассказ был сразу прицелен как финал романа, ибо меня мучил тот тип, который воплощен под именем Полипова. Я знал и чувствовал, что этот персонаж будет большим по объему, сложным и серьезным, а как с ним кончить, к чему его привести?

А потом я решил обратиться к самому началу будущего произведения, но... в виде пьесы. И

написал пьесу под названием «Баллада о пылающем факеле» — о времени создания первых подпольных организаций РСДРП и революция 1905 года. Пьеса шла в Новосибирске — а я уже полным ходом писал «Вечный зов». Пьеса... самостоятельная, в роман из нее вошло немного, но Полипов — его конец — уже намечен в рассказе, а истоки — в пьесе».

Не теряя из вида мир, породивший Полипова и ему подобных, Анатолий Иванов выдвинул, однако, в новом повествовании на первый план положительные силы нового, рожденного Октябрьской революцией мира, изобразив важнейшие из последующих исторических событий, и прежде всего вторую мировую войну, рассмотрел в свете ее эти события как продолжение всемирной битвы правды и зла, света и тьмы, справедливости и варварства, человечности и звериной злобы, как решающую схватку новых начал, поднятых к свету революцией 1917 года, со всеми силами мировой реакции. Об этом масштабе, избранном писателем, вернее, данном ему самой эпохой для измерения всех происходящих на земле событий, не однажды говорится в романе-эпопее устами самых дорогих писателю героев, начиная с рядовой работницы Марьи Фирсовны, продолжая секретарем райкома партии Поликарпом Кружилиным, председателем райпотребсоюза

Василием Засухиным, заведующим райфинотделом Данилой Кошкиным и кончая старым коммунистом-подпольщиком, секретарем обкома партии Иваном Михайловичем Субботиным.

Писатель передает своим доверенным героям, героям-единомышленникам собственную философию жизни, понимание тех сложных, порой и трагических путей, которыми человечество пробивается к подлинному счастью. Одновременно он отвечает на самые трудные вопросы, с неотложностью встававшие перед многими советскими людьми в середине 50-х годов, после XX съезда КПСС. Он определяет единственно верные, на его взгляд, критерии оценки всех главных событий XX столетия. В конце романа-эпопеи один из самых трагических героев — Яков Алейников — до предела сжимает главные мысли большинства положительных персонажей «Вечного зова», бросая в лицо лютому врагу социализма: «Один умный человек мне объяснял когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это — великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная... Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял в конце концов — не

обычная и не общая... Словно прозрел я и увидел — борьба эта между добром и злом идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началась в открытую, врукопашную... Началась война не простая. Не просто очередная война... Не просто фашистская Германия воюет с нами. Все мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросились в бой... Обрушили на нас всю свою мощь... И ты, Валентик, — один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы... Но рано или поздно всей вашей силе... всем вам придет конец... Придет конец!»

В свете этого главного конфликта XX столетия и изображается в романе-эпопее «Вечный зов» жизнь России в годы войны. В отличие, скажем, от Ч. Айтматова, вопреки его собственным теоретическим построениям прибегающего в своих художественных произведениях и к сказке, и к мифу, и к аллегории, Анатолий Иванов, как всегда, в обостренно реалистических, жестко правдивых формах показывает на конкретных судьбах героев необычайную сложность нашей эпохи, для которой действительно характерны коренные сдвиги во всех сферах жизни, полное переустройство ее. В романе-эпопее это выражается в самых неожиданных судьбах героев, в завязывании психологических узлов, кажущихся почти фантастическими.



Автор стремится воссоздать героизм сибиряков, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Первая часть двухтомного многопланового произведения начинается с описания раннего утра 22 июня 1941 года. Мы переносимся в сибирское село Шантару и, в сущности, остаемся здесь до конца войны. Жизнь села, района, области, Сибири, страны, всего континента видится отсюда отчетливо в ее непосредственной зависимости от хода событий на фронте. Писатель предпочитает рассказывать о событиях в хронологической последовательности, позволяя себе пристально, порой до предела замедленно рассматривать одни из них, преломление их в психологии людей, и лишь вскользь упоминать о других, не забывая, однако, и об их «осадке» в душах солдат, офицеров, колхозников, партийных руководителей. Вся первая часть романа-эпопеи посвящена рассказу о том, как восприняли сообщение о начале войны жители Шантары, среди них те, что станут главными героями произведения. Вторая часть начинается фразой: «Сентябрь был тихий, теплый и, на счастье, без дождей». Фраза эта контрастирует с внутренним драматизмом рассказа о самом трудном для советского народа периоде войны. Третья часть разворачивается хронологически между декабрем 1941 и июнем 1942 года, а следующая, четвертая,

предваряется ремаркой: «Война шла уже почти два полных года...» В ней так же, впрочем, как и в следующей, заключительной, главные текущие события развертываются вокруг битвы на Курской дуге. Первая фраза эпилога: «Лето 1947 года началось в Шантаре молодыми грозами».

Если такое построение в романе-эпопее платформы времени заставляет вспомнить о «Тихом Доне» М. Шолохова, то внутренние своды возводятся не без влияния на Анатолия Иванова «Русского леса» Л. Леонова: последовательность развертывания событий во времени не мешает автору «Вечного зова» постоянно прибегать к смене временных планов, к ретроспекциям в форме ли «воспоминаний» героев о детстве, юности, или в виде прямых экскурсов, даваемых от автора. Иногда ретроспекции вмещаются в нескольких абзацах, в других случаях занимают десятки страниц. Нигде они не имеют самодовлеющего значения. И все прочно смыкается с предпосланным роману прологом, который состоит из трех отличающихся острейшим внутренним драматизмом, выписанных с предельным лаконизмом фрагментов. Один относится к 1904–1912 годам, второй к временам белочешского мятежа 1918 года, третий связан с партизанской войной против колчаковщины в 1919 году. Как в свете молнии, в этих фрагментах перед нами на

мгновение вырисовывается прошлое ведущих героев, их поведение в решающие моменты истории, «коловерть» их судеб, роковые просчеты и решающие прозрения. Повествование в фрагментах ведется от автора.

В «Вечном зове» описываются начальный и переломный годы последней войны. Но по мере развертывания событий автор постоянно возвращается к прошлому своих героев или заставляет их самих вспоминать о нем. В результате возникает большое — глубинным срез целой эпохи, — так сказать, романное время, а произведение перерастает в эпический рассказ о всей нашей жизни, о наших победах и просчетах, радостях и горестях по крайней мере за полвека. Роман превращается в эпопею, оставаясь в то же время повествованием о неповторимых индивидуальных судьбах коммунистов и беспартийных, рабочих и крестьян, женщин и детей, втянутых в водоворот величайших исторических событий и в конечном счете определяющих ход этих событий.

Война до предела обостряет все. Но началось это значительно раньше — в 1917 году, когда замешивалась новая жизнь, замешивалась круто, на крови, когда каждый человек оказывался перед решающим выбором, каждому рано или поздно предстояло, по мнению писателя, ответить прежде

всего самому себе на «вопросы коренные, вопросы духа». От того, каков был ответ, зависела вся дальнейшая судьба человека.

В романе-эпопее «Вечный зов» даже самый худший из людей, если он не до конца растерял в себе человеческое, с неизбежностью встает перед вопросами: Зачем рождается человек? Зачем живет? В чем смысл жизни? Где правда, истина, а где ложь?

С неотразимой художественной убежденностью в романе-эпопее показывается, что правильно ответить на «вопросы коренные, вопросы духа», превращенные беспримерным социальным взрывом в совершенно конкретные и неотложные, удавалось не всегда и не каждому еще и потому, что круговерть революции, гражданской войны, коллективизации и Великой Отечественной войны ставила людей в беспримерные ситуации, оборачивающиеся самыми неожиданными поворотами в индивидуальных человеческих судьбах. Так, в частности, случилось с тремя сыновьями Силантия Савельева из деревни Михайловки, что в Шантарской волости близ Новониколаевска. Сам Силантий, как говорили о нем в деревне, был «беднее поповой собаки». Старший сын Антон рано отправился к родственнику в Новониколаевск и через него активно включился в подпольное революционное

движение Средний сын Федор, одно время находившийся в услужении у местного богатея Михаила Лукича Кафтанова, раз и навсегда заразился завистью «к веселой и разгульной жизни хозяина», попытался зацепиться за его богатство (через женитьбу без любви на дочери хозяина — Анне), чтобы самому пожить так же, пожить-погулять, покурлесить, поизгаляться безнаказанно над людьми, когда же революция разбила его надежды, затаил против нее ненависть, несмотря на то, что в гражданской войне оказался среди партизан, а потом вплоть до Отечественной войны ходил в передовиках производства. Младший, Иван, действительно любил Анну и оказался в чуждом ему лагере только потому, что Кафтанов обещал выдать за него дочь. Он рано спохватился, что «запутался как рябчик в силке». Коловерть в его мозгу началась чуть ли не сразу после того, как он попал в банду Кафтанова «.. Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило, Иван Савельев это чувствовал давно..

Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес. Иван для порядка, чтобы услышал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сел на пеньке и долго думал, как же так оказалось, что

плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Федор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого михайловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо было быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А все перепуталось, все вышло наоборот.... И за что воюю-то здесь? Богатство Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и, по всему видать, не отстоять теперь свое богатство ни Кафтанову, никому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, погибать так и так мне. А за что?» Спасая Анну, Иван убивает Кафтанова и доставляет его тело партизанам, а потом за участие в банде отбывает наказание. Тем не менее вплоть до Отечественной войны брат Федор упорно обзывает его «контриком» и вторично, по навету, «засаживает» в тюрьму, откуда тот выходит в первый день войны.

Бесконечно изобретателен автор в изображении путей, какими движутся по жизни бесчисленные герои романа-эпопеи, чтобы рано или поздно встать перед теми же вопросами о смысле человеческого назначения. Предателя Свиридова на них натолкнула беспримерная стойкость настоящего революционера Антона Савельева и его

семьи. Перед Федором Савельевым их ставит нелюбимая жена Анна, догадавшаяся о заветном желании мужа. Легкомысленную Анфису столкнул с ними незадачливый муж Кирьян Инютин, убегающий, как мальчишка, на фронт. Он же, оказавшись без ног, заново решает те же вопросы для самого себя, когда говорит старой нянечке Глафире Дементьевне:

— Не в сладости дело, бабка. А в смысле. А где теперь смысл?

— Ну это штука непростая. Иной и с руками, с ногами, со всем телесным прикладом жизнь проживет, а смысла того так и не уразумеет, — отвечает ему старуха.

Подлинное величие человека, по убеждению писателя и его героев-единомышленников, измеряется тем, когда тот начинает осознавать, кто он и зачем живет на Земле. Осознать все это в ураганной атмосфере XX столетия не каждому легко.

Иван Савельев, пытаясь объяснить случившуюся о нем трагедию — как он попал во «враги народа», говорит своему малолетнему сыну; «Видишь, в чем тут дело, однако... Жизнюха-то наша, сынок, так закружилась, что, барахтаясь в ней, и не разберешься, что к чему, А ты подрастешь, и как бы со стороны тебе все ясно и понятно будет». «Конечно, — сказал в одном

интервью Анатолий Иванов, — есть люди, которые даже очень сложные социально-исторические явления понимают как-то сразу. Но ко многим истина приходит только в результате серьезных переживаний и потрясений. А бывает и так, что для постижения истины человеку приходится платить самой высокой мерой — собственной жизнью».

Самому писателю внести такую ясность помогает взгляд на жизнь с той высоты, какой является победа советского народа над фашизмом и питавшими его мировыми силами зла. Война же квалифицируется как открытое и решающее противостояние двух миров. Победителем выходит новый, социалистический мир. Именно поэтому война против фашизма, по наблюдению мудрой старухи Глафиры Дементьевны, «всему другую цену определила». С беспощадной и неустрашимой прямоотой война обнажила подлинное начало в душах людей, каждого поставив на положенное ему место. Фашистским прислужником оказывается Федор Савельев, тайным агентом международной контрреволюции остается в своей истинной сути Петр Полипов, олицетворяющий все то темное, что уцелело в нашей жизни от старого мира и отнюдь не умирает само по себе.

Надежными защитниками родной земли, нового строя жизни являются Иван Савельев, Кирьян Инютин, Данила Кошкин, Яков Алейников,



сыновья Федора Савельева, воспитанные их настоящим отцом — советским народом. Не покладая рук все годы войны обеспечивают фронт необходимым колхозники Анна Савельева (дочь бывшего богатея Кафтанова), Агата Савельева и ее сын Володька (жена и сын Ивана Савельева), Антон Савельев — директор эвакуированного в Шантару бывшего завода сельскохозяйственных орудий, выпускающего здесь теперь снаряды и минометы, Поликарп Кружилин — секретарь райкома партии. Удивительные и вместе с тем закономерные метаморфозы под влиянием войны происходят со многими героями. Даже сын белого полковника Зубова, пройдя через фронт, становится человеком. Преображается Анфиса Инютина, наконец-то увидевшая красоту души своего мужа. Трезво оценивает собственную деятельность Яков Алейников, человек беспримерной судьбы, по верному определению одного критика, «навылет пронзенный самим острием классовой борьбы своего времени, а потому доходящий до высокой трагедии», подвергнутый страшной смерти бандеровцами. В легенду уходит Семен Савельев, нелюбимый сын Федора.

Тяжкое испытание выдерживают не все из тех, на кого мы готовы были надеяться. Его выдерживают Иван и Агата Савельевы. Его выдерживает больной, вконец изношенный войною

Панкрат Назаров. Его выдерживает сын Кружилина Василий, четыре года проведенный в фашистских концлагерях. Но его не выдерживает сын Панкрата, капитан Назаров, надломившийся на фашистской каторге и согласившийся там стать надсмотрщиком.

Хотя в центре романа-эпопеи находится последняя война, определяющая так или иначе все, о чем рассказывает писатель, эпизоды фронтовой жизни занимают в произведении сравнительно небольшое место. Это не потому, что Анатолий Иванов по возрасту не был на фронте и не видел сражений собственными глазами, не являлся их участником. Описание боя на реке Сан, которым руководит капитан Назаров и в котором волею случая довелось принять участие Антону Савельеву, описание танковых боев под донским хутором Вертячим и особенно на Курской дуге, где с такой впечатляющей силой раскрываются во всем их величии сибиряки: старший лейтенант Дедюхин, командир орудия сержант Алифанов, стрелок-радист Вахромеев, водитель танка Семен Савельев и заряжающий Иван Савельев, — позволили прошедшему всю войну с боями М. Н. Алексееву сказать «Вероятно, каждый, кому дан талант и кто был опален огненными крыльями войны, даже если не участвовал в боях, способен воссоздать ее с убеждающей правдой». Ошеломляют художественной силой страницы,

рассказывающие о том, как ведет в атаку штрафную роту капитан Данила Кошкин. Мало того, что Анатолий Иванов первым в советской литературе коснулся этой темы. В разработке ее он проявил исключительную смелость. Последнее вообще отличает его и тогда, когда он создает сцены далекого прошлого, например, кафтановского разгула, картины гражданской войны в Сибири, и когда погружается в душу человека, теряющего разум, а затем приходящего в себя (Елизавета Савельева), и в эскизах, отражающих кошмары фашистских лагерей смерти, и, повторяю, в зарисовках войны, доносящих до читателя громы, запахи и пламя величайших сражений. Иначе говоря, Анатолий Иванов умеет создавать художественно убедительные батальные сцены, но их немного в его романе-эпопее потому, что писатель ставит перед собой задачу дать в «Вечном зове» не летопись войны, а ее художественную квинтэссенцию, рассмотреть ее в цепи других беспримерных событий XX столетия, начиная с самого беспримерного — Октябрьской революции.

Одну из самых блестящих страниц в историю мирового искусства вписали советские мастера культуры, создавшие неповторимую художественную летопись Великой Отечественной войны советского народа против фашизма. Она открывается величественно-призывной песней

«Вставай, страна огромная», продолжается «Наукой ненависти» М. Шолохова, «Нашествием» Л. Леонова, «Фронтом» А. Корнейчука, «Василием Теркиным» А. Твардовского, увенчивается «Молодой гвардией» А. Фадеева, «Повестью о настоящем человеке» Б. Полевого, романом «Русским лес» Л. Леонова, микроэпопеей «Судьба человека» М. Шолохова, за которыми следуют все новые художественные достижения. Читателя волнует и будет неизменно волновать все, что переживают герои военных произведений в том значении этого термина, когда почти все внимание приковывается к поведению, мыслям человека, непосредственно ведущего бой, погибающего в сражении либо возвращающегося с фронта на развалины родного дома. Но рядом с такими произведениями в советской литературе создавались и будут создаваться романы, повести, в которых война изображается так, что она видится во всем, чем жили четыре с половиной года Советская страна в целом, весь народ. Выдающимся произведением в этом плане явился роман «Русский лес» Л. Леонова. В этом ряду находится и роман-эпопея «Вечный зов» А. Иванова. В последние годы многие русские писатели сумели показать вторую мировую войну во всех ее токах, под высочайшим напряжением пронизывающих весь народ, ее фантастическую разветвленность и

многоветвистость, показать, что в свою обжигающую атмосферу она втягивает всю страну, до последнего человека. Убили солдата, а боль отдается душераздирающей судорогой во всех концах нашей земли — рыдают осиротевшие дети, замертво валится на пол овдовевшая жена, молчаливо глотают слезы престарелые родители. Сама земля от горя седеет. Удивительную по ее многозначительности легенду о ковыле как седине земли рассказывает в «Вечном зове» бывший райкомовский конюх Евсей Галаншин. Оплакивая дорогого ей человека, земля, по убеждению этого старика, выбрасывает беловолосый ковылек-горюнок. «Горе да утраты голову человека забеливают, — говорит он председателю райисполкома Хохлову. — И на лице земли то же происходит. Все мы у нее сыны да дочки. Всех жалко ей... Седых ковылей на матушке-земле все прибавляется...» И тут же, как то свойственно человеку массы, органически ощущающей свое бессмертие, добавляет: «Но и народ тоже убытку не терпит». Что, впрочем, не облегчает бедствий, непрерывно обрушиваемых на него войной.

Изображаются они, эти бедствия, Анатолием Ивановым с подлинным бесстрашием. Подобно тому как от брошенного в водоем камня непрерывно разбегаются по воде к самым дальним берегам круги, так и последняя война, события на

фронте в изображении писателя ежедневно взрываются то неутешным горем, то обнадеживающей радостью в каждом доме, в каждой семье, на всем пространстве нашей страны. «Война — это страшно, — писал один из прославленных героев ее, — и нечего скрывать правду: война — это неизмеримые страдания и гибель миллионов ни в чем не повинных людей»<sup>12</sup>. Такой она и выступает в мужественном изображении Анатолия Иванова. Мы почти физически ощущаем это, ибо вместе с героями «Вечного зова» не только видим бои подо Львовом, у Сталинграда, на Курской дуге, пытаемся вместе с Василием Кружилиным убежать из фашистского плена, но и, оказавшись вдали от фронта, в сибирском селе Шантаре, каждый раз переживаем озноб, когда видим письмоносца с перекинутой через плечо сумкой. Вместе с колхозниками изо дня в день недоедаем, стараясь каждое зернышко, каждую каплю молока отдавать фронту. Вместе с ними оплакиваем погибающих от ящура коров. Вместе ходим на земляные работы, стремясь в невозможно короткий срок пустить завод, который будет изготавливать снаряды... Встаем за

---

<sup>12</sup> А. И. Родимцев. Твои, Отечество, сыны. Киев, Госполитиздат, 1974, с. 40.

расставляемые под открытым небом станки и, поливаемые холодным осенним дождем, засыпаемые снежной крупой, вытачиваем детали для снарядов... Работаем из последних сил. Валимся с ног... Вот она какая, война, на самом деле.

Ни об одной реальной трудности, связанной с войной, да и со всей нашей предвоенной жизнью, не умолчал Анатолий Иванов, сумев рассказать о них так, что, вместе с героями романа-эпопеи проходя через величайшие испытания, многие из коих пострашнее адových, мы все-таки находим время и для любви, и для шутки, и для песни. И ни на минуту не сомневаемся вместе с ними в правоте нашего дела, в победе его.

Незабываемые характеры советских людей сумел создать Анатолий Иванов. Наряду с образом Федора Савельева образы Ивана Савельева, плотогона Филата Филатовича, его первой любви — Акулины Тарасовны Козодоевой, Данилы Кошкина, Якова Алейникова являются настоящими художественными открытиями. Многие десятки советских людей всех рангов, возрастов, склонностей выходят на страницы романа-эпопеи, в единстве составляя образ народа-победителя. Образ этот тем неотразимее, чем глубже погружает нас писатель в стихию народной жизни, показывая людей, бесконечно интересных в своих чувствах и

поступках. Особенно умны, сердечны самые простые люди, хотя почти каждый из них с какой-либо закавыкой. Не раз выручавший в годы гражданской войны отряд Кружилина, преследуемого полковником Зубовым, Филат Филатович в то же время прятал маленьких детей Зубова и Кафтанова. Признавшись в этом Кружилину, он спрашивает: «А выведал бы, так что ж, прикончил дитев бы?» Он же по достоинству оценивает слова Кружилина: «Человек, Филат Филатыч, всегда нужен людям». Акулина Тарасовна, не простившая Филату того, что тот укрывал сына ее смертельного врага, ушедшая от него, вместе с тем не позволяет Наташе отзываться о нем отрицательно. Данила Кошкин, пройдя самую страшную проверку на фронте, добровольно остается командиром штрафной роты. Он же говорит, что советский человек, если он действительно советский, способен вынести все. «Человек — он своих сил еще не знает». Когда-то несправедливо бросивший Кошкина в тюрьму Яков Алейников, встретившись с ним на фронте, признается: «Завидую я тебе. Всей твоей судьбе...

Командир штрафной роты смотрел на Алейникова прямо, в его темных глазах не было ни удивления, ни насмешки, хотя Яков ожидал все это увидеть. Только уголки обветренных губ чуть шевельнулись.



— Я верю тебе, Яков, — сказал Кошкин тихо и грустно».

В самих этих и подобных людях, в их существовании содержится ответ на вопрос, откуда страна берет силы для победы. Образ народа-победителя в изображении Анатолия Иванова — это по преимуществу такие советские люди, как Поликарп Кружилин, Иван Субботин, Панкрат Назаров, Данила Кошкин, Иван Савельев, Акулина Козодоева, Агата Савельева и многие другие, включая безымянную старуху из заводской землянки.

Советские люди в романе «Вечный зов» всегда выступают в богатстве их связей друг с другом, с родным селом, районом, страной, ее историей. Василий Кружилин твердо стоит на земле еще и потому, что, где бы ни находился, всегда остро чувствует, «как и чем земля родная пахнет, этот ветер, это небо». Неразрывна связь Ивана Савельева со своим селом, его людьми, его дымами. Отбыв шестилетнее наказание, он снова пришел в родную Михайловку, где его ждали Агата и дети. Смотрел Иван на родную деревню, которой не видел шесть лет, и ему «захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко поклониться людям. Здравствуйтесь, мол, вот и я вернулся... А потом взять косу и косить, косить молчком до самого вечера. А после, надышавшись

вволю родимым луговым воздухом, поужинать, сесть к костру и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, ухают, просыпаясь в чащобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, позабыть так, будто их никогда и не было...»

В этом источник подлинной силы и непобедимости русских людей. В этом и еще в том, что в критическую минуту в них доминирует коренное, исподвольное, так что каждый начинает ощущать свою страну во всей ее незыблемой широте и бездонной исторической глубине. В самом конце романа-эпопеи есть знаменательный диалог, происходящий между Панкратом Назаровым и Поликарпом Кружилиным:

«— Немец снова, значит, на Киев прет? — неожиданно спросил Назаров, все глядя в окно.

— На Киев, — коротко откликнулся Кружилин, думая еще о своем.

— Да-а... Никогда я не был в этом Киеве, — заговорил почему-то Назаров. — Вот по истории учат детишек — в Киеве Русь зачиналась, а?

— Да... там, — сказал Кружилин, не понимая, зачем Назаров заговорил об этом.

— Так, может, немцы и вдолбили себе — там зачиналась, там и кончится? Потому так и лезут в какой раз на этот город?

Такая мысль самому Кружилину никогда в голову не приходила. И он поразился тому, что сказал Назаров: ведь вполне могла эта бредовая идея гвоздем сидеть в башке какого-нибудь фашистского идеолога или теоретика! Вполне. Они, немцы, любят всякие символы. И он сказал:

— Может быть...

— Только Русь-то сейчас — она вон какая! — продолжал Назаров. — И тут у нас Русь, в соседнем с нами Казахстане, в Грузии, в Армении. Во всех республиках в смысле, да?

— В этом смысле — да.

— В Громотуху вон Громотушка впадает, другие многие речки и ручейки вливаются. Потому она и не мелеет. И в тебе она, и во мне — Русь. В украинцах, татарах, во всех... разве же все это может кончиться?...»

Сознание это делает Русь, Советский Союз непобедимым, в нужную минуту пробуждая в каждом «ту великую и таинственную силу, вечно и неодолимо живущую в человеке, которая в трудные, самые критические минуты заставляя человека поворачиваться к жизни самой сильной, самой благородной, самой справедливой своей стороной».

Так, опираясь на знакомый ему до мельчайших подробностей материал сибирской жизни, Анатолий Иванов создал образ советского

народа-победителя, перерастающий в стереоскопический образ Руси, Советской России, многонационального Советского Союза.

Неотъемлемой частью этого образа является наше будущее. О нем постоянно думают все герои романа-эпопеи, так же как враги социализма, планирующие вместе с Лахновским сокрушение нашей страны в XXI столетии. Заглядывая вперед, защитники социализма думают о том, как надо строить дальше жизнь, не допуская ошибок и просчетов.

Вообще герои Анатолия Иванова — люди напряженной мысли. Они держат в памяти весь путь, пройденный нами после Октября, умеют смотреть правде в глаза и говорить только правду себе и людям. Порой им приходится вести нелегкие споры друг с другом. Они не боятся затрагивать самые болезненные вопросы нашей жизни. Вспомним прямой разговор Поликарпа Кружилина с Василием Субботиным и Яковом Алейниковым о том, почему в конце 1930-х годов в нашей стране допускались нарушения законности и кто в них повинен, или беседы того же Кружилина с Наташей Мироновой о ее репрессированном отце. В романе-эпопее, как небо в океане, отражается вся жизнь нового мира со всеми основными его радостями и горестями, спорами, обретениями и утратами. Самый сложный, «эпохальный» спор ведут Федор, Иван и Анна

Савельевы. Он не прекращается на протяжении десятилетий. Временные его решения приводили к трагическим оборотам в судьбах каждого из этих героев, к тяжелым психологическим драмам, раскрытым Анатолием Ивановым с убеждающей художественной силой.

Иногда изображение их требует от писателя очень сложных поэтических средств, и он находит их. В третьей части романа-эпопеи есть превосходный в психологическом отношении эпизод. Федор Савельев сидит в красном уголке на собрании механизаторов по поводу «усиления темпов ремонта и подготовки машинно-тракторного парка к севу». Он слушает доклад Поликарпа Кружилина, одновременно продолжая в душе спор с женой Анной, вспыхнувший с новой силой перед самым собранием. Она сказала Федору: «Господи, как я проклинаю то время, когда замутил ты мою голову! И вот выпил ты всю кровь из меня, все соки... Все, все правильно Иван сказал про тебя: не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть, — никого. И себя, должно, не любишь. Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?.. И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству... чтобы... чтобы развратничать потом на заимке, как отец.

— Вовсе интересно, хе-хе!.. — Смешок его,

хриплый, глухой, походил на кашель. — Женился-то я в девятнадцатом на тебе, когда в партизанах был. К тому времени от богатства вашего один дым остался.

— Это уж так получилось, что в девятнадцатом... А я говорю — хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне... А что от богатства нашего дым один остался, это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево.

— Замолчи... об чем не знаясь! — тихо, с тяжелым стоном попросил он.

— Знаю! — упрямо продолжала Анна. — И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. А брата своего за это и ненавидишь... за то, что опомнился он, Иван, тогда, перешел к партизанам, понял, где правда... Ты мстишь ему за это всю жизнь, потому что больше-то никому не в силах мстить... али боишься другим-то! Вот... Этаким никто тебя не знает, а я знаю... Теперь... теперь... тебя и он, Иван, раскусил... Теперь он тебе и вовсе смертельный враг».

В памяти Федора неотвязно звучит все до последнего слова, сказанное Анной, а перед мысленным взором проходят взаимоотношения с прихвостнем богатея Кафтанова Демьяном Инютиным, вспоминается беседа с Поликарпом Кружилиным в разгар гражданской войны. Один

временной план сменяется другим, картины собственной жизни разрезаются, как ножницами, беспощадно точными фразами Анны (в печатном тексте выделяемыми и графически). От этих фраз Федор не может отделаться даже тогда, когда выступает на собрании и когда, сказавшись больным, покидает собрание. В уши ему «барабанят» слова Анны: «А что от богатства нашего дым один остался, это тебя и точит всю жизнь». Они страшны для него, ибо выносят на свет «тайное тайных» его всегда остававшейся собственнической, индивидуалистической души. Они доводят его до галлюцинаций. В виски с обеих сторон долбит и долбит безжалостное: «За-чем тогда живешь? За-чем тог-да жи-вешь?»

Оказавшись на фронте и в первом же бою, под Пятигорском, устранившись немецких автоматов, Федор Савельев истошно закричал. «Я хочу вам служить! Честно... честно служить!» И стал им служить, хотя в душе сознавал, что «немцам русских не одолеть». Служил потому, что «не любил он Советскую власть и всех, кто за нее боролся, кто принял эту власть, не любил».

До значения грандиозного символа поднимает Анатолий Иванов сцену надвигающегося на Федора справедливого возмездия. Убегая от преследующего по пятам отряда Алейникова, Федор кричит: «Живьем не возьмете, сволочи!» —

и вдруг слышит спокойный голос брата Ивана: «Почему же, Федор? Возьмем!» Федор строчит по нему из автомата, а Иван, невредимый, осыпаемый пулями, но невредимый, надвигается на него. Иван говорит, что он, Федор, не имеет права и никогда не имел права ходить по земле, что он «ее обгадил» И, как бы в подтверждение слов Ивана, тот начинает поливать грязью собственного сына, жену Анну, плюется такими словами, каких, наверное, не произнес бы сам Кафтанов. «В мозгу Ивана что-то невысказанной болью вспухло и разорвалось. Закрыв глаза, он нажал на спусковой крючок, автомат задергался, сильно и больно заколотил прикладом в живот. Он все прижимал спусковой крючок, пока диск не кончился и автомат не перестал реветь».

Необычна эта сцена у такого бескомпромиссного и жесткого реалиста, каким является Анатолий Иванов. Но в данном случае он сознательно идет на нарушение правдоподобия, стремясь придать символический смысл заслуженному возмездию: это сама история уничтожает все чуждое новой жизни, затаившееся в ее щелях, уничтожает бесчеловечный мир собственности, который так ненавидит писатель и в конечном поражении которого на всей Земле не сомневается.



Один из критиков, анализируя роман «Вечный зов», писал: «Историзм определяет главные достоинства этого романа, в котором панорама народной жизни дана от начала века до шестидесятих годов... Показывая, как глубоко затронули социальные перемены века корни народа, Анатолий Иванов продолжает шолоховские традиции»<sup>13</sup>.

Эта мысль справедлива по отношению и ко всему творчеству писателя. Исследуя главные стороны социальной и духовной жизни общества в самый революционный период, показывая героическую борьбу народа за идеалы коммунизма, утверждая «мир социальной новизны», Анатолий Иванов своими произведениями существенно пополняет сокровищницу великой советской литературы

*Александр ОВЧАРЕНКО, доктор  
филологических наук*

## **Часть первая**

---

<sup>13</sup> «Роман-газета», 1978, № 1. Вступительная статья В Горбачева к роману «Вечный зов».

## Глава первая

Маленькая речка, густо заросшая по берегам тальником и низким осинником, в самом центре деревушки круто заворачивает влево, образуя почти прямой угол. Оттого, видимо, и деревня называется Локти.

С трех сторон опоясывает ее неширокой лентой сосновый бор, а с четвертой, с северной, раскинулось большое озеро Алакуль.

За бором, прижавшим деревушку к самой воде, поблескивают на солнце плоскими лысынами редкие холмы. Выбегая из деревни, пробиваясь сквозь зеленый заслон, вьется между ними, свинцово отсвечивает пылью единственная дорога.

Весной отлогие склоны холмов распахивают, и тогда, если взойти на самый высокий из них, кажется: на старую, застиранную прошлогодними осенними дождями, вылинявшую под солнцем, до блеска заглаженную ветрами землю наложены новые черные заплаты.

А дальше за холмами начинаются непроходимые леса и болота. Они тянутся на много километров. Среди лесов попадаются иногда небольшие, домов в пятьдесят-семьдесят, деревеньки, жители которых задыхаются летом от болотных испарений. Эти испарения, если дует южный ветер, доносятся и до Локтей. Тогда в домах

плотно закрывают окна и говорят:

— Задышало Гнилое болото. А ведь и там люди живут... Господи...

Локти — селение тоже небольшое, всего в несколько безымянных улиц. Но крайние дома так далеко разбрелись по берегу речки, что от одного конца до другого будет километра четыре. К этим домам протоптаны тропинки. По бокам тропинок растет высокий бурьян. К середине лета его выкашивают, — потому что после утренних рос или дождя пробраться к домам, не вымокнув по пояс, нельзя.

Главная улица деревни, широкая и пыльная, засажена тополями. Одним концом она упирается прямо в озеро, другим — в стену соснового бора.

В этих лесных и болотистых краях днем с огнем не сыщешь камня. Зато отлогий берег озера, там, где впадает в Алакуль речушка, щедро завален мелким галечником. А справа и слева от речушки, в полкилометре от устья, беспорядочно громоздятся угрюмые, голые скалы. Живший в Локтях ссыльный студент Федор Семенов называл почему-то галечник на берегу и эти скалы «шуткой природы». Часто он, пошевеливая густыми, черными как смоль бровями, подолгу любовался, как искрятся гранитные глыбы под лучами солнца. Жителям это казалось странным, а сам ссыльный чудаковатым человеком. «Скалы и скалы — эка

невидадь». Они привыкли к скалам, как привыкли к озеру, к лесу, к болотам, к повседневной своей нелегкой жизни.

На берегу всегда веером рассыпаны лодки. Они похожи на громадных черных рыб, которые выплыли из пучины, приткнулись головами в мокрые камни и теперь с любопытством наблюдают, что происходит в деревне.

Около лодок целыми днями барахтаются в воде ребятишки. Зато под скалами никто никогда не купается, потому что там очень глубоко и тяжелые зеленоватые волны угрожающе плещутся, разбиваются о гранит даже в тихие дни.

Дремучий лес еще не так давно покрывал всю возвышенность за деревней. Но год от году деревья вырубали, жгли, по метру отвоевывали землю под пашни. И наконец засвистел по скользким, лоснящимся от жира холмам упругий ветер.

А узкая полоска леса за околицей так и осталась нетронутой, отгораживая деревню от пахотных полей, от небосклона, от всего мира.

До ближайшего крупного поселения было верст пятьдесят. Говорили, что есть где-то далеко, за озером, большой город. Но где именно — знали только староста Гордей Зеркалов, два-три работника локтинского богатея Алексея Лопатина, возившие оттуда товары для его лавки, да сам Лопатин. Добраться до города можно было лишь

зимой, когда устанавливалась дорога по озеру.

Лениво текла по деревне небольшая речушка, в мелкой и мутной воде ее плавали полусонные пескари. Так же лениво и сонно текла жизнь в Локтях.

С тех пор как началась война, деревня и вовсе будто вымерла. Ссылный студент куда-то исчез. Говорили, что сбежал. Мужиков взяли на фронт, а те, что пока остались, старались не показываться на улице, будто боялись потревожить застоявшуюся над Локтями тишину.

Но за год войны эта тишина нет-нет да и нарушалась. Случалось это обычно в дни доставки почты. То одна, то другая баба, ничего не видя перед собой, сжимая в кулаке страшную, только что полученную бумажку, бежала от дома старосты Гордея Зеркалова, завывая:

— А-а-а-а-и-и-и!

И все знали: осталась жена без мужа, дети без отца, семья без кормильца.

Крик постепенно захлебывался и стихал, придавленный висевшей над деревней тишиной.

\* \* \*

День распалился вовсю.

Старый бородатый цыган с большой серьгой в левом ухе медленно ехал по улице Локтей в

скрипучем, расшатанном ходке и, поворачивая голову по стороаам, лениво и певуче выкрикивал:

— Коновалить кого есть?.. Есть кого коновалить?..

Иногда из какого-нибудь домишка выходили и молча махали рукой. Цыган-коновал останавливал ребристую, лохматую, как и сам, лошаденку, бросал ее прямо на улице и, захватив с собой обшарпанную кожаную сумку с нехитрыми инструментами, шел за хозяином в сарай. Лошаденка, мотая от жары головой, терпеливо ждала его возвращения.

Проехав из конца в конец улицу, цыган свернул в переулок и поехал, как обычно, к Бородиным. Их низенькая избенка с двумя тусклыми оконцами стояла на самом краю Локтей, упираясь огородом в стену леса. Была похожа она чем-то на подгулявшую старушонку, которая, вывалявшись в грязи, теперь сидела, согнутая, на земле, непонимающе посматривая на мир выцветшими глазами.

Хозяин дома Петр Бородин, сухой, желтый старик с поредевшей бороденкой, завидев в окно цыгана, выскочил во двор, испуганно огляделся по сторонам в, впустив коновала в избу, усадил его подальше от окон. Он торопливо и угодливо суетился вокруг гостя, избегая смотреть ему в глаза.

Цыган расстегнул рубаху, достал из-за пазухи

тяжелый кожаный мешочек, такой же обшарпанный, как и сумка, долго его развязывал. Петр Бородин нервно облизывал сухие губы. В бесцветных глазах его вспыхивал и гас, вспыхивал и гас огонек, крючковатые руки начинали трястись. Цыган брезгливо усмехнулся, кинул Бородину смятую разлохмаченную бумажку.

— На...

— Нету... Теперь уже не занимаюсь, нет... За это, знаешь, теперь что? Того и гляди тюрьма... Поволокут — только ногами застучишь...

И он снова опасливо глянул в окно.

Коновал достал из мешочка еще одну радужную бумажку.

— Попадись тебе в ловком месте — убьешь. Убьешь ведь, а?

— Господи, Христос с тобой! — побледнел Петр Бородин. — Мы — люди ведь... А ты... э-э...

Старый Бородин говорил длинно и сбивчиво, словно оправдывался. Цыган сидел на лавке у порога, покачивая головой, задумчиво мял в толстых грязных пальцах деньги. Наконец он бросил старику вторую бумажку. Петр Бородин спрятал ее в карман холщовых штанов и быстро засеменял к выходу.

Через несколько минут возвратился, держа в руках отпотевшую, облепленную мякиной бутылку с синеватой жидкостью.

Цыган молча, стакан за стаканом, выпил весь самогон, вытер рукавом влажные толстые губы.

— А я вот убивал, — сказал он, возвращая пустую бутылку. Бородин только торопливо перекрестился. — При... приходилось. Ну, ну, ты... не трясись. Убивал... которые... попадались иной раз в лесу... ночью. Дело такое — наконовалю так вот за недельку, за две... Иные позарятся, ну и... Или тебя, или ты...

«Много уж ты наконовалишь, — подумал Бородин. — Не с этого у тебя золотишко-то водится».

— Оружие, стало быть, есть? — осторожно спросил он и тут же пожалел: цыган полоснул его черными, острыми как нож глазами, но ничего не ответил, только похлопал огромной волосатой рукой по карману широченных шаровар.

— Ну да, ну да, как же... всякие людишки болтаются по лесам, — торопливо замотал головой Бородин.

Цыган, пошатываясь, вышел из избы, сел на заскрипевший под ним ходок и поехал, негромко затянув непонятную песню. Его долго сопровождали улюлюкающие деревенские ребяташки.

Ходок давно скрылся за поворотом, а старик все еще стоял у окна, словно видел, как коновал, покачиваясь, едет по лесу, мимо болот, через



глухие, пустынные места. Бородин не шевелился, только заскорузлые пальцы чуть дрожали да приподнимались и опускались кустистые белесые брови. Он не заметил, как со двора вошла жена. Вытирая платком слезящиеся глаза, она села на табуретку и закашлялась. Чахоточный румянец на ее щеках проступил еще ярче.

— Много дал-то? — спросила она, растирая рукой плоскую грудь.

— Сколько дал — все наши, — ответил Петр, отходя наконец от окна.

— В больницу бы мне, — тихо проговорила жена. — Кровью вон кашляю.

— Легко сказать — в больницу. — Старик скривил губы, поскреб всеми пальцами в затылке. — А платить чем? Болотной мяты попей вот...

— Пропаду я с твоей самогонкой — тогда все тебе останется, — с горечью сказала женщина. — В бане гниль, чад... Я ведь на пятнадцать годов тебя моложе, а кто поверит?

Бородин прошелся по комнате, побряхтел, стиснул рукой в кармане влажные бумажки.

— Бог терпел, Арина Маркеловна, и нам велел. Вот если бы... Через месяц, поди, опять приедет цыганишка-то... Тогда бы и в больни...

Старик запнулся на полуслове, попятился под взглядом жены.

— Ты! Ты опять за свое! — с отчаянием вскрикнула Арина, приподнялась, шагнула вперед, но тотчас остановилась. Она смотрела широко открытыми глазами, но не на мужа, а куда-то поверх его головы.

— Так что ж? Жить надо ведь... А ему что? Пропьет. А мы бы... Э-э! — бормотал Петр Бородин торопливым, свистящим шепотом. Шепот этот будто обезоружил женщину, отнял у нее все силы. Она тяжело опустилась на прежнее место и опять долго и тяжело кашляла.

— Я с твоей курилкой... будь она проклята, света белого, не вижу. Все боюсь — вдруг дознаются. А ты еще... Господи, дай хоть помереть спокойно. Ведь меня обдирает всю, как подумаю: в себе-то чего носишь?..

— Ну ладно, ладно. Бог с ними, в деньгами. Я к тому, что без нужды они ему.

Июльское солнце, казалось, насквозь прожигало ветхую избенку Бородиных. Прямые полосы света косо падали из маленьких окон на сучковатый, некрашенный пол и расплывались там желтоватыми масляными пятнами. Старик Бородин почему-то осторожно обходил их, словно боялся поскользнуться.

Арина долго еще сидела на табуретке не шевелясь.

— Ну, чего? — спросил Петр, останавливаясь

возле нее. — Иди.

Вздрогнув, она поднялась, пошла к двери.

— Мы пропадем — один конец. О Гришке-то хоть подумай, пожалей. Ему ведь жить, — сказала Арина, оборачиваясь в дверях.

— Да сгинь ты с глаз, чтоб тебя!.. — взорвался вдруг Петр. — Я же сказал: бог с ними, с деньгами. Пусть пропивает их хоть в три цыганских глотки. — И тут же добавил тише, спокойнее: — А то не думаю я об нем... Гришке жить-гулять недолго осталось — солдатчина на носу. Вот и поразмысли сама...

К чему было сказано это последнее: «Вот и поразмысли сама», — Арина не поняла.

\* \* \*

Мысль «выбиться в люди», разбогатеть, стать крепким хозяином сидела в Петре, как гвоздь в бревне. Глубоко кто-то загнал этот гвоздь в дерево, по самую шляпку, прижавел он там, и уж не вытащить его никакими клещами. Шляпку сорвешь, а гвоздь все-таки останется внутри. Разве вот расколоть бревнр надвое...

Мечта была, но денег от того не прибавлялось, сколько ни сэкономил Петр от заработков жены, сына, своих собственных. С горя заходил иногда в деревенскую лавку Алексея

Лопатина, приторговывавшего потихоньку водочкой, напивался.

Но однажды, когда Петр Бородин спросил по привычке бутылку водки, лавочник только угрюмо усмехнулся.

— Что, нету? — недоверчиво переспросил Петр.

— Есть, да не про твою честь. Запрещено теперь. Строго насчет этого.

«Тебе, черт пузатый, и раньше никто не разрешал торговать ей», — подумал Бородин, а вслух спросил:

— Почему запрещено?

— Война, — коротко ответил лавочник, будто Бородин сам не знал об этом.

Несколько дней Петр Бородин ходил молчаливый, что-то соображая. Потом начал гнать в бане самогон.

Однако капитала на этом нажать было тоже нельзя. Видя, что затея пустая, Петр хотел уже разбить аппарат, тем более что жена ныла день и ночь: «Дознается — пропадем. Сына-то пожалей...» Но тут появился в их доме цыган-коновал со своим кожаным мешочком. Краем глаза видел как-то Петр, что не только деньгами набит мешочек; колючим ослепительным огоньком блеснуло однажды между грязных пальцев цыгана золото — не то часы, не то

кольцо... И Петр тотчас смутно подумал: «Нет, не надо разбивать пока аппарат. Не будет самогонки — не заглянет больше цыган ко мне в дом...»

А сейчас, сидя у окна, Петр размышлял, что цыган снова приедет...

Через дорогу напротив, у самой стены дома, расплавленным золотом горели под солнцем битые стекла, кололи, заставляли слезиться глаза. Но Петр Бородин смотрел на них не отрываясь, не мигая и, казалось, ни о чем не думая...

## 2

Цыган действительно приехал через месяц.

Петр Бородин кинулся в сараюшку, где заранее припрятал бутылку самогона для коновала, а рядом с ней небольшой пузырек с темной жидкостью. Торопливо разрыл трясущимися руками солому. Бутылка была на месте, пузырек исчез.

С минуту Петр сидел на соломе растерянный, красный, пытаясь что-то сообразить. Потом тихо, потеряв неожиданно голос, позвал:

— Арина!.. — И погромче: — Ари-ина!!

Жена вошла в сарай с огорода. Завидев ее, старик молча встал, медленно, не разгибаясь, будто крадучись, пошел к ней. Глаза его сделались круглыми, остро поблескивали в полумраке. Молча

он схватил жену за горло крючковатыми пальцами. И уже потом прошипел:

— Ты?.. С-стерва!..

— Брось... все... брось... Я его... в озеро... пузырек-то... от греха, — задыхаясь, шептала Арина.

Казалось, Петр с трудом выдавливает из нее по одному слову

— Ах ты!.. Сука старая!.. А вдруг цыган не приедет больше? А?

— Проп... пропадем ведь!..

— Где?! Задушу сейчас, коли правда в озеро кинула!..

— Правда...

— У-у-о!.. — глухо завыл Петр Бородин и, не помня себя от охватившей его злобы, уже изо всех сил сдавливал жене горло. Она, обмякшая, посиневшая, опустилась на колени.

— Вон там, на средней полке, — прошептала Арина почти без сознания.

Только теперь Петр разжал пальцы. Жена мягко, без стука упала на пол и, открывая рот, стала жадно глотать сырой, пахнувший навозом воздух.

Петр Бородин перешагнул через нее, подошел к шкафчику, прибитому в углу сарая. Там валялись на полках гнутые гвозди, старые гайки, ржавые железки, стояли банки с дегтем, колесной мазью. Бородин торопливо шарил руками по средней

полке. Нашупав пузырек, зажал его в кулаке, облегченно засмеялся и пошел за бутылкой. Но отчего-то неожиданно почувствовал слабость. Резко закружилась голова. Он опустился на солому возле жены, посидел с полминуты.

Вдруг ему показалось, что он сидит тут уже давно-давно, несколько часов, и цыган, не дождавшись его, уехал. Он вскочил, схватил бутылку, выдернул пробку, сдельную из дряблой морковки, и налил в самогон из пузырька несколько капель.

Пока спешил к избе, в голове тупо колотилось одно и то же слово: «Уехал, уехал...»

Цыган сидел на прежнем месте, на табурете возле печки. Повернув навстречу Петру коротенькую смоляную бороду, спросил:

— Что долго?

Глаза Петра застилало черным туманом, в ушах что-то гудело, и он едва расслышал голос коновала.

— А-а... — растерянно заморгал глазами Петр и замолчал. — Э-э... с женой худо случилось... схватило в сарае, лежит там... Вот... — и протянул бутылку.

Цыган, ни слова не говоря, выпил весь самогон прямо из горлышка, помотал головой и вышел из избы. А Петр вытер холодный пот со лба. Когда сел на лавку и прислонился к стене,

почувствовал — спина тоже мокрая и по всему телу ползет озноб...

Не сразу до его сознания донеслись удаляющиеся крики ребяташек. Значит, цыган поехал из Локтей! Петр глотнул сухим ртом воздух, метнулся к двери, схватил у порога топор.

В комнату, пошатываясь, вошла жена.

— Пропали мы... Господи... — простонала она. Опустившись на табуретку у печки, уронила голову на грудь.

— Не вой, сказал... — И добавил как-то плаксиво и жалобно: — Из-за ва-ас же...

Огородами Петр Бородин торопливо побежал к сосновому бору и нырнул в него. Он не замечал, что ветви хлещут по лицу, что ноги путаются в траве.

Когда увидел дорогу — цыган ехал уже между холмов. Лошадь плелась шагом. Коновал сидел на ходке как-то неестественно прямо. Широкая спина его тихо покачивалась из стороны в сторону.

Дорога делала здесь большой крюк. Петр смотрел вслед коновалу и часто-часто крестился. Потом пригнулся и, сокращая путь, побежал напрямик, по бездорожью, к чернеющим за холмами деревьям.

Где-то еще не кончился день, а здесь, в лесу, густились вечерние сумерки. Старик, тяжело дыша, прислонился к толстой сосне. Колени его



подгибались, в горле першило. Донесшийся скрип колес словно подрезал Бородин, и он рухнул на землю, усыпанную старой ржавой хвоей, ошестинившимися сосновыми шишками. Сквозь придорожный кустарник увидел проезжающий мимо ходок. Цыган сидел по-прежнему прямо, точно в него воткнули железный стержень, и все так же тихо покачивался.

Когда скрип колес стал почти замирать, Петр Бородин, не выпуская топора, с трудом поднялся и заторопился следом. Но едва впереди, за поворотом, показался ходок, Бородин отпрянул в сторону, за кусты, терпеливо ждал, пока коновал удалится, шепча: «Господи!.. Не понес бы черт кого навстречу...»

Солнце садилось. Из глубины леса потянуло гнилой, болотной сыростью.

На одном из поворотов дороги Бородин, осторожно выглянув из-за кустов, не увидел ходка: скрип раздавался дальше, где-то за деревьями. Задышавшись, Бородин тяжелой рысцей побежал вперед и вдруг запнулся за что-то большое и мягкое. Поперек дороги лежал цыган.

Когда Петр перелетел через него и плашмя упал на плохо уезженную дорогу, коновал пошевелился и тяжело приподнялся на локте. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не поднимаясь с земли. Да один из них и не мог

подняться. Он понял все и уронил голову.

А Петр Бородин, лежа на земле, торопливо шарил вокруг себя, ища выпавший из рук топор. Потом сел на корточки и так застыл: коновал опять приподнимался.

Равнодушный, погружающийся в густую холодную темень лес молчал, точно ожидая, что же будет дальше. Сквозь ветви сосен, почти сомкнувшихся над дорогой, осторожно проглядывала бледноватая распухшая луна.

Наконец Бородин, не разгибаясь, пододвинулся к цыгану. Слабо блеснуло лезвие топора и тотчас погасло, но цыган, очевидно, догадался, что это за блеск, и застонал — негромко, страшно, не разжимая губ.

— Ты прости Христа ради... Великий грех-то на душу — легко ли? А жизнь-то такая... Ты пойми, пойми... — приближаясь, шептал Бородин.

Услышав голос, цыган опять застонал, чужими, негнушимися пальцами принялся расстегивать старую черную рубаху. Пуговицы не поддавались. Тогда он рванул ворот, снял с груди тяжелый кожаный мешочек, собрав последние силы, бросил Бородину и, уткнувшись лицом в землю, захрипел:

— На бери... Только меня... не надо... Отдышусь, может... никто не узнает.

Мешочек не упал на землю, старик подхватил

его на лету и, почувствовав в руках тяжесть, беззвучно рассмеялся.

Но это была секунда. В следующее мгновение Бородин сунул мешочек за пазуху, поднялся во весь рост и уже твердым шагом подошел к цыгану.

— Не узнают, говоришь, людишки-то? — спросил он, чуть нагибаясь к лежащему у его ног коновалу. Спросил тихо, но властно, с таким чувством, будто стал теперь владельцем не только заветного кожаного мешочка, но и Локтей, и всей земли. — Оно верно: не узнают!

И, неторопливо размахнувшись, ударил коновала топором по голове.

А удар пришелся будто по его собственной. Петр Бородин даже ощутил, как лезвие топора — не то горячее, не то холодное — прошло сквозь череп и застряло там. В ушах зазвенело, а перед глазами, в темноте, как и полчаса назад, когда он бежал за телегой, поплыли оранжево-зеленоватые круги.

... Сколько времени просидел Петр Бородин на дороге — он не знал. Кругом стояла темень. Не было уже ни луны, ни звезд — небо, очевидно, затянуло тучами. Казалось, кругом на много верст нет, кроме него, никого живого.

Бородин сунул руку за пазуху, вытащил кожаный мешочек, подержал в руке, пытаясь зачем-то разглядеть его в темноте, и спрятал обратно.

Потом нагнулся, взял цыгана за плечи и потащил с дороги в кусты.

### 3

Локтинские парни, рубившие лес для постройки церкви (старая сгорела нынешней весной от несчастного случая), обедали на примятой сочной траве. Пообедав, молча закурили. Разговаривать никому не хотелось.

Гришка Бородин, костлявый, остроплечий, с рыжими, торчащими во все стороны вихрами, встал, сделал несколько шагов, сильно размахивая руками.

Странные это были руки. Длинные и тонкие, они кончались широкими, как лопаты, мозолистыми ладонями. Страшная сила таилась в них. Гришка легко завязывал в узел гвозди, вызывая восхищение и зависть локтинских мужиков.

Взяв в правую руку палку, он левой обхватил ствол дерева и проговорил, обращаясь к сидевшим парням:

— А ну, двое кто-нибудь, которые посильнее, держите. Выдернете — рубль отдаю. А нет — с вас по полтине.

Принять вызов Гришки Бородина никто не торопился. Наконец двое поднялись, поплевали на

ладони. Но сколько ни дергали — ничего не добились. Казалось, палка была зажата не в руке Григория, а в клещах.

— А ну, третий еще! — торжествующе крикнул Гришка, поблескивая круглыми, как у отца, близко посаженными глазами.

И втроем не могли ничего сделать, только ладони ободрали о сучки. А Григорий насмешливо скривил губы, отбросил палку и вытер пот с маленького лба.

— Вот так! — проговорил он. — Что уж возьму — намертво. Никто не выдернет, не отберет.

— У тебя вся сила в руках, как у рака в клешнях, — заметил Андрей Веселов, рябоватый парень с густыми и жесткими, как конская грива, волосами. — А ударь тебя щелчком по лбу — ты и с копыт долой. Только в воздухе ногами брыкнешь.

— Я те ударю, — вдруг зло огрызнулся Григорий.

Его небольшие круглые глаза недобро поглядывали откуда-то из глубины, из-под нависшего плоского лба, ноздри раздувались, а нижняя челюсть неестественно выдалась вперед.

— Что же, попробовать можно, — лениво отозвался Веселов.

— Я те попробую, — тем же тоном проговорил Григорий, но, видя, что Веселов поднимается, трусливо сделал несколько шагов

назад. — Но... ты... рябой дьявол.

— Охота тебе, Андрей, с таким связываться... — проговорил один из парней, коренастый, плотный, как камень, Тихон Ракитин — первый силач в Локтях. — Не тронь ты его, а то к речке стираться побежит.

— Я тебя схвачу где-нибудь... в узком месте поперек глотки, — отойдя в сторону, пробормотал Григорий, вытащил огромную, увесистую руку из кармана и показал Веселову. — Тогда попробуй вывернуться... Пискнешь только...

Андрей отвернулся, лег на мягкую траву спиной к Григорию.

— Что вы все как кошка с собакой? — спросил у Андрея Ракитин.

Веселов не отозвался. Ответил Ракитину долговязый, быстрый, как вьюн, Федот Артюхин.

— Известно, что... Дуняшка промеж них проскочила.

Григорий тоже растянулся на траве. В задумчивости он сжимал и разжимал свои огромные руки-клешни.

Андрей перевернулся, заложил руки за спину и стал смотреть в высокое небо над лесом. Там истаивали небольшие ватные облачка да кружился вокруг них степной коршун, неведомо как залетевший в эти лесные края.

— Федька Семенов рассказывал, — тихо

проговорил Веселов, — будто люди скоро по небу, как птицы, будут летать... Правда это или нет, как думаете?

— Знамо дело — врет, — откликнулся Артюхин. И пустился в рассуждения: — Птица, она почему летает? Потому что легкая. А человек-то — ого! Особенно некоторые... — Артюхин покосился на Гришку, — ...у кого этого самого внутри много... И потому что крылья у птицы есть. И кости опять же у птицы легче воздуху, пустые внутри...

Поковыряв в зубах, будто ел мясо, Артюхин взял с бревна сушившиеся портянки и начал обуваться. Потом спросил:

— И опять же — откуда у человека крылья возьмутся?

— Я тоже слышал от него, что будто построили где-то уж эти самые машины, на которых летают, — промолвил Тихон Ракитин.

Артюхин быстро поморгал круглыми глазами и уставился на Ракитина.

— Ч-чего?!

— Машины. По имени — аэропланы.

— Из чего это их izdelали?

— Не знаю. Про это Федька не говорил.

— То-то... Врет — и весь сказ! — торжествующе заключил Артюхин.

— Недаром — ссыльный, — вставил

Григорий. — Ишо сбежал, гад.

— Тебе-то что? — поинтересовался Ракитин.

— Ништо. Не любил я его, — неопределенно ответил Григорий.

Облачка уже растаяли, небо было синим, ласковым и зовущим. Коршун, совсем не махая крыльями, все плавал и плавал в вышине широкими кругами. Андрей все смотрел на него, не шевелясь, не мигая, словно замороженный.

Жара немного опала, потянул ветерок.

— Ну, айда работать, — бросил Тихон Ракитин и тоже стал обуваться. — Лесин пяток завалим еще до вечера.

Андрей, не спуская глаз с птицы, проговорил:

— А я с охотой полетел бы на той машине, про которую Федька Семенов рассказывал.

— Чего, чего? — опять заморгал Артюхин. — И брякнулся бы с неба-то! Как пить дать. Хе-хе, вот бы Гришка-то обрадовался. Да и зачем тебе летать?

— Посмотреть бы, как люди на земле живут, — ответил Веселов. — Рассказывал Семенов, что есть на свете такая страна, где нету богачей-мироедов, вроде нашего Лопатина или Гордея, нету горя. Помнишь, Тихон?

— Помню. Там все пашут сообща, хлеб сеют. Только сказки это. Нету такой страны.

— Ну как нету, когда Федька говорил, что есть, — возразил Андрей.



Ракитин ничего не ответил. Вместо него опять подал голос Григорий:

— Набрехал да сбежал. Одно слово — ссыльный...

— Верно говорит Тихон — нету, — вмешался Артюхин, уже расхаживающий по траве. — А кабы была — богачи уж прибрали бы ее к рукам. Ты на этом самом... как его... лететь туда хошь, а наш Лопатин быстрее тебя пешком бы туда прибежал да заграбастал все. Ты прилетел, а он тебе — кукиш.

Андрей Веселов поднялся с земли, молча взял свой топор.

— Ну а ты чего разлегся, как барин! — крикнул Ракитин Григорию. — Вставай.

Григории молча поднялся, но пошел не к парням, которые уж валили столетнюю красавицу сосну, а совсем в другую сторону.

— Вот паскуда, — услышал он за спиной, но не обернулся, ничего не ответил.

\* \* \*

Часа полтора просидел Гришка Бородин над омутком спокойной, уснувшей, казалось, навеки лесной речки, смотрел на свое отражение в воде, о чем-то думал, крепко стиснув зубы, отчего нижняя челюсть опять сильно выдавалась вперед.

Возвращался домой Григорий еще засветло.

Выйдя из леса на дорогу, снял разношенные, хлябавшие на ногах тяжелые сапоги и зашагал по мягкой прохладной пыли.

Неожиданно взгляд его упал на продолговатый предмет, напоминающий топориче, торчащий впереди из придорожного кустарника. Подойдя поближе, он увидел, что это в самом деле топор.

«Какой-то разиня ехал да потерял, — подумал Григорий, нагибаясь. — Стоп, да ведь наш топор-то. Разиня, выходит, батя».

А подняв топор, несколько секунд тупо смотрел на лезвие, чувствуя, как холодеет в животе. Весь топор был в черной засохшей крови. Местами кровь запеклась сгустками, и к одному из них прилип черный клочок не то волос, не то шерсти.

«Что он, скотину, что ли, рубил?» — изумился Гришка, переворачивая в руках топор, и немного успокоился. На ум пришла мысль: «Может, батя увидел отставшую от стада корову, да и... Ведь вчера я лег спать поздно, а его все не было дома...»

Парень огляделся. Кустарник возле дороги был немного помят, некоторые веточки сломаны и уже успели призадохнуть. Значит, сломаны они были утром или прошлой ночью.

Гришка несмело перешагнул через кустарник и осторожно пошел по лесу. Там, между деревьев, трава тоже была примята — по ней волоком

протащили что-то большое и тяжелое.

Он в нерешительности остановился. Дальше идти становилось страшно. Но, постояв и подумав, сделал еще несколько шагов вперед.

Сделал — и вдруг на секунду замер, а затем отпрянул в сторону. Хотел бежать Гришка прямо через лес в деревню, подальше от этого места, но не мог: ноги подкосились, он свалился на землю... И совсем рядом с ним лежало тело цыгана, чуть закиданное сухими ветками и вялой травой, вырванной с корнями, с землей. Голова коновала была окровавлена, рубаха на груди разорвана, черная борода торчала дыбом, пальцы рук судорожно скрючены. В одной руке цыган сжимал комья земли вместе с травой: будто он сам закидывал себя, умирая, и завалил бы совсем, да не успел — смерть прервала работу.

Опомнившись, Гришка пополз прочь. А выйдя на дорогу, остановился, пораженный неожиданной мыслью: «А если поедет кто мимо да найдет... его?..»

Идти назад и прятать мертвое тело было страшно. Может быть, Григорий и не решился бы на это, но вдруг услышал, что где-то недалеко стучали по корням, приближаясь, колеса телеги. Ему казалось, подвода приближается так быстро, что вот-вот будет рядом. Григорий нырнул в кусты. Гулко колотилось сердце, и он старался не дышать,

чтобы как-то унять этот стук.

Когда телега проехала, Григорий осторожно приподнялся и, пригнувшись зачем-то, медленно двинулся к тому месту, где лежал цыган. Шел, стараясь не хрустнуть сучком под ногами, опасаясь задеть ветку дерева... А подойдя, не ощутил уже прежнего страха. Деловито отбросив сучья, накиданные на мертвое тело, он приподнял цыгана, с трудом взвалил его себе на плечи и, покачиваясь под его тяжестью, пошел в глубь леса, подальше от дороги.

В диком и глухом месте Григорий сбросил тело с плеч, присел отдохнуть. Не отдышавшись как следует, поспешно вскочил и начал рубить топором землю. Комья сырой, холодной земли, пахнущие болотом, перемешанные с корнями трав, мелкими желтоватыми корнями деревьев, выгребал широченными руками-лопатами.

Выкопав яму, Гришка столкнул туда цыгана, засыпал его землей, закидал прелыми прошлогодними листьями...

#### 4

Солнце, скользнув последний раз по дырявым крышам домишек, по оконным стеклам, по рябоватой глади озера, скрылось за лесом. А из леса выползал сыроватый сумрак, струился по улицам,

скрадывая, растворяя очертания предметов.

Гришка, поужинав, вышел во двор и несколько минут смотрел в сторону озера, заложив руки в карманы измятых холщовых штанов. Локти его острыми углами торчали за спиной.

Григорий видел, как из лесу вышел отец и, чтобы сократить путь, свернул с дороги к своему огороду, перелез сквозь изгородину и пошел к дому между грядок. В руках у него была лопата.

Подойдя, Петр бросил лопату в открытую дверь дощатой сараюшки, сел на выщербленную чурку для рубки дров, опустил голову, не обращая внимания на сына. Видно было, что старик бродил где-то по лесу, продираясь сквозь густые и цепкие заросли. Узловатые, высохшие руки его были исцарапаны, рубаха в двух местах порвана. В спутанной бороде застряла сухая игла от сосновой ветки. «По земле полозил...» — подумал Гришка и спросил:

— Куда это ходил с лопатой?

— На кудыкину гору, — зло ответил отец.

Григорий помолчал, чуть насмешливо осмотрел отца с головы до ног. Почувствовав на себе этот необычный, какой-то обдирающий взгляд, Петр Бородин беспокойно повернулся к сыну:

— Ты чего?

— Я-то? — Гришка уже откровенно усмехнулся. — А может, топор в лесу искал?

В одно мгновение старик оказался на ногах. Он что-то хотел сказать, но только беззвучно шевелил губами. Наконец вымолвил еле-еле:

— Так...

— Вон он, топор-то, в углу. Возьми.

Отец, ни слова не говоря, послушно повернулся, прошел в угол двора, где лежали заготовленные на зиму сухие сучья. Шел мелкими шажками, устало и тяжело волоча ноги. Поднял топор, валявшийся возле сушняка, поспешил зачем-то палец и попробовал лезвие на остроту.

— Что, не затупился? — издевательски спросил Гришка.

И тогда случилось неожиданное. Старик, не выпуская топора, сверкнул налитыми кровью глазами и стремительно бросился к сыну. Тот, растерявшись, отскочил и невольно юркнул в первое попавшееся на глаза убежище — в сараюшку. Петр вбежал туда же, захлопнул за собой дверь, прижал ее спиной и, задыхаясь, прохрипел:

— Ведь я и тебя, сукин ты сын, если только...

Григорий в первые секунды даже не понял толком, что же произошло, метнулся из угла в угол, потом обернулся, увидел перед собой в полумраке отца с топором в руке, прилип спиной к стене. И только тогда зазвенело, забилося под его узким невысоким лбом: «Ведь убьет! Убьет! Ему что!...»

И в этот же миг за дверью раздалось:

— Гри-и-ишенька-а!..

Арина, увидев в окно, что муж кинулся за сыном с топором, растрепанная, обезумевшая, выскочила из избы, со всего разбегу ударилась мягким, дряблым телом в дверь сараюшки, которую Петр изнутри подпирал спиной, и осела на землю, заголосила тонко, пронзительно:

— Люди добрые! Решит мальчонку, помо...

Петр распахнул дверь, и Арина ввалилась в сарай, упала на унавоженный пол. Петр опять захлопнул дверь, опять прижал ее спиной и крикнул:

— Не реви, дура! — И уже тише проговорил: — Вы что? В кандалы меня захотели?

— Очнись, окаянный! Душегуб ты...

— Да замолчи ты! — Не соображая, что делает, Петр пнул жену ногой в лицо.

Она вскрикнула, зажала лицо руками и, не поднимаясь, тонко, жалобно завывала.

Гришка понял, что самое опасное миновало, что к отцу возвратился разум.

Однако он еще боялся пошевелиться. Стоя у стены, он переводил широко открытые глаза то на отца, то на мать.

Отец часто и глубоко дышал, сильно вытягивал шею. Потом размахнулся и бросил топор в другой угол сарая. Глотнув слюну, Григорий

примирияюще проговорил:

— Зачем же, батя, так-то?..

Опять начала подвывать Арина.

— Эх, жизнь-то такая... — тоскливо сказал вдруг Петр Бородин и медленно начал оседать на землю, скользя спиной по двери.

— Вот, Гришенька, дожились мы — зашептала Арина. — Господи, подумать только — человека решил из-за денег... Ведь он зельем опоил его сперва, а потом добил где-то...

Петр сидел, странно поглядывая на жену, прислушиваясь. Но не перебивал, будто и не о нем шла речь.

Пошатываясь, Арина стала подниматься с земли. Побрела в угол сарая, закрывая одной рукой разбитое лицо, подобрала топор и пошла к выходу.

— Посторонись ты, дьявол.

Петр послушно отодвинулся. Сделался он вдруг каким-то податливым, безучастным уже ко всему. Даже когда Арина обернулась в дверях со словами: «Пусть судит бог, коль не вытерплю и расскажу все людям», — он только усмехнулся да качнул головой.

Когда Арина ушла, отец и сын помолчали еще немного. Наконец Петр спросил:

— Зачем зарыл... его?

— Мать-то вот докажет, тогда что? — вместо ответа произнес Гришка.



— Мать?.. А ты не докажешь?

И снова не ответил Гришка, положил руки в карманы и вышел из сарая на свежий воздух.

\* \* \*

Ночью Арина, лежа на скрипучей деревянной кровати, натужно, с кровью, кашляла, бормотала что то в бреду. Петр, спавший на лавке, поднялся, зажег лампу.

— Чего, батя, не спится? Или мерещится что в темноте? — насмешливо спросил Григорий, приподнимая голову с овчинного тулупа, расстеленного на полу.

— Дурак ты, чего зубы скалишь?!

— Много ли денег разжился?

— Сколько есть — все мои...

— Твои? — Григорий сел на полу и еще раз переспросил: — Значит, все твои?

Отец быстро повернулся к сыну всем телом. Но Григорий как бы не заметил этого беспокойного движения отца, лениво зевнул, лег на свое место, положил руки под голову и спросил:

— А если в самом деле люди дознаются? Ведь до смерти будешь кандалами звенеть.

Отец сорвался с места, закружился по избенке, выкрикивая:

— На! Бери!.. Чем с живого жилы тянуть!.. —

Вывхватив из-за пазухи кожаный мешочек, швырнул его Григорию точно так же, как цыган кинул ему. И продолжал метаться из угла в угол. — А то иди докажи! На отца родного... Чего меня стращать? И буду звенеть железом в каторге!.. За вас буду!.. Вот... Волк ты, Гриш-ка-а-а-а!.. Вырастил я тебя...

Но едва Григорий протянул руку, чтобы поднять мешочек, Петр ястребом кинулся на сына, с силой отбросил его к самой стене, схватил обеими руками деньги.

— Не грабастай, ты, змееныш!..

Григорий больно ударился затылком о стену, но не вскрикнул.

— Иди! Доказывай! — не унимался отец. — А то я доберусь до тебя как-нибудь пораньше, я тебе расколю головешку, попомни...

На кровати металась Арина. Петр, кивнув в ее сторону, продолжал плаксиво:

— Вот и мать, старая ведьма... Выдаст ведь, знаю... А я что? Для себя, что ли?.. Задавить бы вас обоих в один час...

— Ты разум, батя, потерял там... на дороге, — проговорил Григорий, потирая ушибленную голову. — Кто тебя выдавать собирается? Зачем бы мне тогда закапывать цыгана?

Петр Бородин удивленно слушал сына, часто моргая слезящимися глазами.

Гришка лег на тулуп, повернулся к стене, проговорил:

— Туши свет, чего людской интерес привлекать на огонь.

Арина до самого утра билась на кровати в жару, задыхаясь от духоты, бормотала что-то. Ни муж, ни сын не подошли к ней.

## 5

Был воскресный день.

Лето подходило к концу. С утра на почерневших огородных бурьянах, на прибрежных гальках, на придорожной траве лежала щедрая, дымящаяся роса. Поднявшееся из-за озера негорячее солнце долго сушило их, над землей струился жиденький, еле заметный парок. Земля и воздух нагревались медленно, но в полдень ребяташки, предводительствуемые хлипким, длинношеим Ванькой Бутылкиным и толстощеким Гошкой Тушковым, бегали по улицам уже босиком.

Григорий Бородин в новой синей рубаше не спеша шагал по улице, держа по обыкновению руки в карманах. От него пахло самогонкой. Под мышкой торчал небольшой сверток.

В самом центре деревушки белел сруб строящейся новой церкви. Поп Афанасий, подоткнув полы длинной рясы, бродил возле стен,

трогая желтоватые бревна, а потом нюхал пальцы.

Григорий не любил попа и хотел было свернуть в переулочек, но отец Афанасий подозвал его жестом.

— Благослови, батюшка, — смиренно нагнул голову Григорий, подходя.

Поп перекрестил его и опять понюхал пальцы.

— Ты вот что скажи отцу духовному — почему на работу перестал ходить? Я новый дом хочу строить себе, лес нужен, а валить почти некому. Андрея Веселова не сегодня-завтра в солдаты берут...

— В солдаты? — живо переспросил Григорий.

— И Тихона Ракитина, и Федота Артюхина...

— Вон что?

— А ведь лес-то мне нужен. Я заплачу и отпущу все смертные и несмертные грехи твои, и отца твоего, и матери твоей.

При упоминании смертного греха Гришка невольно отшатнулся от попа, и отец Афанасий тотчас нагнулся и вкрадчиво шепнул в ухо:

— Есть, стало быть, за душой грешок тяжкий?

— Что ты, что ты, батюшка... Нету такого.

Поп сурово глянул, отступил на один шаг.

— Ну, запомни на будущее: всякий грех отец святой отпустить волен... Так пойдешь завтра в лес?

— Пойду, батюшка, — ответил Григорий.

«Черта с два теперь буду тебе лес рубить, старый сыч, как же, жди... — думал он. — А Андрюху, значит, забирают... Так-так!.. Вон какие дела...»

И Григорий пошел не оглядываясь.

Скоро он свернул с дороги и едва приметной тропинкой вышел на окраину к побеленной избушке. Здесь жила Дуняшка со своей бабушкой, давно ослепшей и настолько дряхлой, что казалось, подует ветерок — упадет она и больше не поднимется.

Дуняшке шел семнадцатый год. Это была невысокая черноволосая девушка с тихим голосом, с какой-то совсем детской, всегда виноватой улыбкой.

Своих родителей Дуняшка не помнила. Они умерли от холеры, когда ей не было еще и трех лет. С тех пор Дуняшка и живет с бабушкой, ведет нехитрое хозяйство, ходит мыть полы, стирать белье и полоть огороды к старосте Зеркалову, лавочнику Алексею Лопатину, отцу Афанасию.

Когда Григорий стукнул дверями в сенях, Дуняшка, убиравшая со стола, быстро обернулась на звук, в серых глазах ее несмело блеснул радостный огонек, засветилась улыбка. Но едва увидела входившего, потушила эту улыбку, бросила растерянный и встревоженный взгляд на бабушку, сидевшую на кровати, словно ища

защиты.

— Здравствуйте, — проговорил Григорий, перешагнув порог.

— Милости просим. Проходи, гостем будешь, — прошамкала старуха беззубым ртом, вглядываясь в пришедшего невидящими глазами. Потом повернулась к внучке: — Кто это, Дунюшка? Не могу узнать по голосу-то...

Девушка промолчала.

— Вижу — лучше в горло кость, чем такой гость, — хмуро усмехнулся Григорий.

Прошел, сел на некрашеную табуретку, спросил у старухи:

— Живешь еще? Я думал — померла уже...

— Это Гришка, что ли, Бородин?.. Помереть-то мне пора, да смерть никак не идет... Заплуталась где-то...

В сенях опять стукнула дверь.

В комнату вошла нищенка лет пятнадцати, грязная, оборванная. Робко прижалась к косяку, протянула тонким голосом, готовым каждое мгновение оборваться:

— Ради праздничка... подайте корочку...

Григорий Бородин пошарил в кармане, достал смятый рубль, бросил нищенке.

— На... Убирайся только...

Деньги упали на пол, к ногам девочки. Нищенка не поднимала их, только широко

открытыми синими глазами испуганно смотрела на Григория.

— Ты чего? Бери, коль дают.

— Не... Мне бы кусочек хлебца... и ладно. А деньги не надо. Ведь спросят — где взяла столько? Украла, скажут...

Григорий встал, поднял деньги и протянул девочке. Та попятилась, замахала руками.

— Нет, нет... Нету хлебца — и ладно.

— Тьфу, — сплюнул Гришка, положил деньги себе в карман и сел на прежнее место.

Дуняшка, стоя у печки, молча и удивленно наблюдала и за незванным гостем, и за нищенкой. Потом достала из шкафа ломоть хлеба:

— На, возьми...

Худенькой, давно не мытой рукой нищенка схватила хлеб, тотчас спрятала его в свои лохмотья и хотела уйти, но старуха, тяжело поднимаясь с кровати, проговорила:

— Ты постой, доченька...

Перебираясь по стене, старуха подошла к совсем оробевшей нищенке, стала ощупывать восковыми, просвечивающими, казалось, насквозь руками ее голову, замотанную рваной тряпкой, худые плечи...

— Ты откуда, доченька? — спросила старуха.

— Так... — ответила негромко девочка, — хожу по деревням...

— Звать-то как?

— Аниской.

— Отца-матери, стало быть, нет?

— Нету... Мы приезжие были. Из-под Смоленска, — чуть осмелев, рассказывала Аниска.

— Однако... есть, поди, хочешь, доченька?

— Нет... Не сильно... Я вчера ела... Мы жили в деревне на той стороне озера. С отцом жили... Потом он потонул пьяный в озере, а мать еще дорогой померла, когда сюда ехали...

Григорий, сидя на табуретке, поглядывал то на старуху, то на девочку-нищенку, то на Дуняшку. Он положил сверток на колени, но не разворачивал, словно ожидая, когда его попросят это сделать.

— Сиротинушка ты моя, — жалостливо говорила старуха, поглаживая Аниску по голове. — Бездомная...

— Летом-то ничего. Зимой вот плохо. Иногда попрошусь к кому-нибудь ночевать. Пускают мало кто — боятся, что обокраду... По субботам хорошо, — продолжала Аниска, — бани топят. Когда все вымоются — зайду и сплю. Тепло. И на другую ночь ничего, терпеть можно. А потом выстывает... А то еще во дворе можно, со скотиной. К овце прижмешься, она теплая, как печка. Только закрывают многие дворы-то на ночь... — Голос Аниски иногда прерывался, тогда она часто моргала, хмурила лоб, будто вспоминая,



что еще рассказать этой ласковой слепой старухе.

— Врешь ты все, — сказал вдруг Григорий.

Аниска вздрогнула и замолчала, вытянув длинную худую шею в сторону Григория. Старуха тоже повернулась к нему:

— Кого обижаешь, варнак ты этакий? Грех бы вроде.

Григорий усмехнулся, поерзал на табуретке.

— Ничего... Отец Афанасий сейчас сказал: все грехи отпущу тебе...

Старуха пожевала ввалившимся ртом, сказала, обращаясь к Дуняшке:

— Собери-ка там чего на стол, покорми скиталицу... Да и помыть бы ее. Поди, грязная.

— Я сейчас... Воды вот, бабуся, нету. Я мигом сбегаю на озеро...

Дуняшка торопливо сорвалась с места. Когда пробежала мимо Григория, тот схватил ее за руку:

— Ведь я к тебе пришел. Поговорить бы... А ты бежишь...

— Пусти!

— Ну ладно, пушу, — покорно сказал Григорий, встал и вышел следом в сенцы.

Взяв в сенях ведра, Дуняшка сняла со стенки коромысло и повернулась. Григорий придержал ногой дверь, которую Дуняшка хотела открыть.

— Ну, чего ты? — негромко спросила девушка, отступив на шаг. — Хочешь, чтобы

коромыслом огрела?

— Зря ты, Дуняшка... Я ведь по-хорошему...

— Я тебе давно сказала, и тоже по-хорошему  
— не ходи за мной, и все.

Опустив голову, Григорий помолчал.

— Говорила... Я что, слепой? Вижу — не меня ждала, Андрея.

И вдруг перешел на шепот, заговорил торопливо, будто боялся, что она опять перебьет его:

— Ну а что мне делать, что делать, если... не могу я собой владеть?.. Вот и пришел... вот и хожу... Я... не ручаюсь за себя... И убью его, если...

Дуняшка негромко вскрикнула и зажала себе рот ладонью:

— Что ты мелешь? Что ты мелешь, опомнись!..

— А тебя — скажи слово — на руках носить буду, — продолжал он, подходя к Дуняшке. — Одну тебя, как картинку... Вот, тебе принес...

Гришка быстро развернул сверток. Лучи солнца, падавшие сквозь щелястую крышу сенок, заиграли на добротном розоватом сатине, который Григорий протягивал Дуняшке.

— Возьми, на платье... Андрей — тот не подарит...

Дуняшка стояла, не трогаясь с места, смотрела

на материю. Потом подняла глаза на Григория, усмехнулась:

— Вижу — богатый стал... Нищенке целый рубль подать хотел, мне сатину на платье...

— А что? Ты не смотри, что я... такой... сейчас. Мы еще заживем, Дуняшка, я тебе правду говорю... Не хуже лавочника Лопатина заживем или там Гордея Зеркалова... Только ты скажи... одно слово...

— Скажу, — промолвила она. — Уходи отсюда!.. Сейчас же...

— Дуняшка!..

Григорий еще хотел сказать что-то, но не успел. Дверь в сенцы отворилась, на пороге стоял Веселов.

Увидев Дуняшку и Григория, Андрей в первую секунду опешил.

— Так...

Дуняшка хотела выйти, но Веселов загородил собой двери...

— Нет уж, погоди... Тут разобраться надо...

— Чего разбираться? Видишь — человек на платье дарит мне...

Дуняшка оттолкнула Андрея, выскочила из сенок, перекинула коромысло через плечо и пошла к озеру. Андрей посмотрел ей вслед и повернулся к Григорию. Тот торопливо комкал шуршащий сатин, стараясь завернуть его снова в бумагу.

— Что уставился? — буркнул он.

— А вот что... Она говорила тебе, чтобы ты забыл сюда дорогу?

— Не помню что-то... А вот как приглашала в гости — помню...

— Приглашала? — переспросил тяжело Андрей. — В гости?

— Был такой случай...

— Врешь! Врешь все, рак клешнятый!.. — загремел вдруг Веселов, надвигаясь на Гришку.

Бородин попятился. Не успев завернуть сатин, он уронил его на пол и угрожающе выставил вперед свои огромные руки:

— Н-но, ты... Попробуй тронь!.. Зажму в кулак — только хрустнешь...

Андрей и без того знал, что если Григорий удачно схватит его, то уж намертво. Знал также он, что трусости у Григория не меньше, чем силы в руках.

— Ах ты! — воскликнул Андрей и неожиданно кинулся на Григория. Григорий отскочил и очутился на крыльце. Пятясь задом, он оступился и упал, но тотчас поднялся с земли. Веселов бросил ему сверток из сеней прямо в лицо:

— Забирай!.. И увижу еще раз тебя здесь — пеняй на себя...

Григорий повернулся и торопливо пошел прочь.

\* \* \*

А ночью, когда над озером, над деревней, над лесом разлилась черная глухая темнота, возле маленькой саманной избушки, на куче хвороста, приготовленного для растопки, сидели Дуняшка и Андрей Веселов. Дуняшка, в стареньком платке, тихо всхлипывала, прижимаясь лицом к широкой, теплой груди любимого. Одной рукой Андрей обнимал девушку, другой поглаживал ее вздрагивающее плечо.

— Ты не плачь, — тихо утешал он, всматриваясь в темноту над озером. — Не всех же убивают на войне. Вернусь...

— Боюсь я — не дожждаться мне тебя... — промолвила Дуняшка.

— Ну, ничего, дождешься, если... будешь ждать.

— Господи, о чем ты? — с горечью, с тяжелым упреком воскликнула Дуняшка.

— Гришка Бородин ведь не отстанет, я знаю...

— Да на черта мне он, такой... — Больше Дуняшка не нашла слов.

— Ну, ну... верю. Да и ему гулять недолго. Он ведь чуть помоложе меня.

Потом они долго молчали. Дуняшка

всхлипывала все реже.

Андрей прижался губами к ее голове, вдыхал теплый запах волос. Сегодня они пахли почему-то сухим душистым сеном.

Андрей долго думал, чем же это она вымыла голову, пока не рассмеялся.

— Ты что?

— Да так. Лопатины сенокос начали. Ты не у них работаешь?

— Два дня уже.

— Вот-вот.

— Чудной ты.

Тяжело пропели спросонья вторые петухи, а Дуняшка и Андрей все сидели обнявшись, все молчали. Наконец Андрей проговорил:

— По земле хоть поезжу, посмотрю, где какая жизнь. Федька Семенов рассказывал...

— Да нету, Андрюшенька, нету такой жизни на земле! — воскликнула Дуняшка, уже не раз слышавшая от Андрея о чудесной неведомой стране. — Ты только приезжай живой-здоровый. Уж какнибудь в моей или твоей избушке проживем. Руки-ноги, слава богу, есть у обоих... были бы у обоих, — поправилась она на ходу, вспомнив, куда уезжает Андрей.

— В избушке... Да я знаешь какой домище отгрохал бы тебе, кабы лес был...

Дуняшка ничего не сказала на это, только

крепче прижалась к нему.

Начала заниматься заря, синевато просачиваясь сквозь уголок черного неба.

— Ну, прощай пока, — проговорил Андрей, поднимаясь. — Надо хоть часок соснуть перед дорогой.

— Буду ждать тебя, — просто сказала Дуняшка.

— Если чего случится со мной — тогда, конечно... Только чтоб не за Гришку Бородина...

— Ни за кого, кроме тебя, — прошептала она...

Андрей ушел, а Дуняшка не шевелясь сидела на куче хвороста почти до рассвета.

\* \* \*

Так никто и не узнал в Локтях, куда девался бородатый цыган. Через месяц в деревню появился новый коновал — юркий старичонка с деревянной ногой.

Старосте Гордею Зеркалову надо было выхолостить кабана и молодого жеребчика. Заслышав крики коновала, он вышел на улицу, оглядел одноногого.

— А где этот... ну, тот... с серьгой в ухе? — спросил староста, отдавая нового коновала пьяным перегаром. — Не слыхивал?

Одноногий старичонка, уловив дразнящий запах самогонки, торопливо закрутился вокруг телеги, постукивая по земле деревяшкой.

— Это про кого изволите? Прежний коновал, что ли? А бог его знает! Цыган, известное дело — бродяга. Можя, и в Россию подался из Сибири-то. Ищи ветра в поле. Куда идти-то?..

— Сюда, — указал Гордей на дверь конюшни.

Через полчаса коновал кончил работу, сложил инструменты в кожаную, как и у цыгана, сумку, бросил ее в телегу. Получив деньги за работу, потоптался возле старосты, потом вздохнул:

— Эхма! Как говорится: не пить, не гулять — куды деньги девать! Верно гуторю? А теперича, если увидишь бутылку в лавке, то с постным маслом, а либо со снадобьем от поноса...

— Ишь ты, — ухмыльнулся Зеркалов. — Запрокинуть, что ль, охота?

— Оно не то чтоб охота, а... для безвредности. Вишь, с чем валандаться нашему брату приходится...

— Ну, спроси там у кого-нибудь... — махнул рукой вдоль улицы Гордей, хотел пояснить: «У Бородина, мол...», но вовремя опомнился: «Ведь он, староста, должен зорко следить, не варит ли кто самогон в деревне», — и строго взглянул на коновала: — Ну, ну, у нас днем с огнем не найдешь самогонки... Я строго насчет этого...



Увидев подходившего к ним зажиточного мужика Демьяна Сухова, староста поспешно ушел в дом.

— Заворачивай-ка, мил человек, ко мне на двор, — сказал коновалу Сухов. И, щелкнув себя пальцем по горлу, прибавил: — А насчет этого — врет староста. Можно найти... Я укажу тебе адресок.

Когда коновал кончил работу и у Сухова, тот сказал ему, опять щелкнув пальцем по шее.

— К Петру Бородину ступай. Во-он домишко, на том конце улицы, возле избы Бутылкиных...

— Это который Бутылкин? Не тот ли, у которого я утресь коней лечил? Сынишка еще у него, Ванюшкой звать?..

— Он, он... Один у нас в селе Бутылкин.

— Тогда знаю, знаю, — закивал головой коновал. — Пацан вертелся все у моих ног, денег выклянчивал. Ох и въедливый!.. Ну, прощай пока, добрый человек.

— Прощай, прощай... — ответил Сухов, закрывая ворота за коновалом.

Через несколько минут одноногий старичонка остановил лошадь возле Бородиных, зашел в избу и спросил, нет ли чего для сугрева.

Петр, притащив бутылку, осторожно поинтересовался о прежнем коновале. Старик ответил ему примерно то же, что и Зеркалову.

— Вот ведь жизнь-то... — сказал зачем-то Бородин и прибавил: — Я к тому, что заезжал, бывало, ко мне цыганишка-то...

— Ну и ляд с ним, — отозвался пьяный уже коновал. — А теперича я вот заезжать буду...

На этом и забыли в Локтях про старого цыгана. Был, да сплыл...

## Глава вторая

### 1

Петр Бородин месяца полтора никому не показывал, что водятся у него деньжонки, медлил из осторожности. А в начале зимы, когда на твердую, как кость, землю посыпались первые снежинки, неожиданно пришел к Лопатину, который когда-то отказался продать ему водки, и сказал:

— Вот что, Лексей Ильич... Продай-ка несколько десятинок земли.

Конечно, землю купить можно было бы и весной — ведь ни пахать, ни сеять зимой не будешь, — но это ждуть еще несколько длинных-длинных месяцев. А у него млело сердце при мысли, что он, Бородин, — хозяин облюбованного участка земли, принадлежащего

пока лавочнику. Где тут утерпеть до весны!..

Лопатин посмотрел на Петра круглыми глазами, выставив вперед широкий лоснящийся подбородок.

— Продать тебе? Земли?! — переспросил лавочник. — Да ведь пустошь есть. Подавай властям заявление — и запахивай.

— Черта ли там вырастет, на гальке? Хорошие земли вы с Гордеем позахватывали. Ты мне за речкой продай.

— Та земля не по твоему карману, — сказал Лопатин и отвернулся. — Там ведь, с краешку, строевого леску немного... Не купишь...

— А это не твоя уж забота... — вдруг с вызовом бросил Бородин и только потом, когда брови хозяина настороженно взметнулись вверх, понял: «Не надо бы так-то... А то заломит цену...»

— Вот как! — воскликнул лавочник. — Ну что же, садись тогда к столу, потолкуем...

На другой же день весть о неожиданной сделке разнеслась по селу. Посыпались вопросы:

— Где денег взял?

— Лохмотья, что ли, продал?

Маленький, вконец забитый нуждой мужичонка Авдей Калугин выкрикивал:

— Ишь, жук навозный. В дерьме рыл носом, да питался, видать, не одним просом..

— Самогонщик! — поддержала его солдатка

Марья Безрукова. — Другого засадили давно бы, а у него вдруг дружба с Зеркаловым объявилась.

Зажиточные мужики Игнат Исаев, Кузьма Разинкин, Демьян Сухов и другие с завистью толковали меж собой.

— Вот тебе и Петрушка Бородин!.. Шагнул!

— Нечистое дело тут, однако...

— А хоть бы какое!.. Деньги, они не пахнут...

Бородин не обращал внимания на пересуды, отвечал всем с усмешечкой:

— Жизнь-то такая, якорь ее, если, конечно, так сказать...

Алексей Лопатин, поняв теперь, что все-таки продешевил, сказал Бородину:

— Ты не прикидывайся дурачком, плати еще по красенькой за десятину, а то...

Бородин не растерялся, буравя лавочника маленькими глазками, спросил:

— А то — что?

— Гм... Смел ты стал! Не по себе дуги гнешь. Полюбопытствовать можно, чем ты вдруг разжился, чем баба твоя в бане занимается...

— Поинтересуйся лучше, чем твоя баба занимается, когда тебя дома нет... Понял? — отрезал Петр Бородин.

Лопатин, и без того красный, как самовар, побагровел, но не мог вымолвить ни слова. Смелость Бородина испугала лавочника: не сказал

бы так старый хрыч, коль не чувствовал за собой силы.

И в самом деле, завернул через несколько дней в лавку Гордей Зеркалов, во внутренней комнатухе выпил полбутылки смирновской водки и проговорил, как бы между прочим делом, разглядывая золотое колечко на пальце левой руки:

— А к Бородину ты, Алексей Ильич... это самое... зря. Чего он тебе?

— Землишку-то, по всему видать, продешевил я.

— Э, тебе ли жалеть? На одном деле прогадал, на двух выгадал... — И щелкнул ногтем по бутылке. — Тоже ведь... поторговываешь все-таки. — Зеркалов встал. — Ну, прощевай пока. Спасибо за угощение. А насчет Бородина... Земля большая, всем места хватит...

Конечно, не зря Гордей Зеркалов взял под свою защиту Петра Бородина. Всему на свете есть причина. Была причина и этому.

Давненько уже локтинский староста похаживал к Бородиным, попивал самогонку. А недавно Гордей Зеркалов засиделся у Бородина до полночи. Наконец, раскачиваясь, пошел к выходу, долго шарил по двери, ища скобу. И при тусклом свете пятилинейной лампы увидел, как желтовато поблескивает у него на пальце золотое кольцо. Зеркалов опустил на скамейку, стоявшую возле

двери, долго рассматривал кольцо, соображая, кто и когда надел его ему на палец.

— Это... что? — спросил он, поднимая кверху палец.

— В знак благодарствия... и уважения, Гордей Кузьмич, — заюлил Петр Бородин, подбегая к Зеркалову. — Тоже ведь, люди мы, так сказать. Торгуем вот... зельем-то. А от вас плохого не видывали, не слыхивали... Это еще материно, заместо обручального было... Единственное богатство в доме... Голодал с семьей, а его хранил... как лериквию. Для хорошего человека — не жалко... Уж возьми, Гордей Кузьмич, не обидь смертно...

Староста еще посидел, засмеялся, встал, погрозил пальцем и ушел...

Едва захлопнулась дверь, Петр Бородин твердо прошелся по комнате, будто и не пил наравне с Зеркаловым. Подошел к печке, где лежал Гришка, проговорил:

— Видал? Из-за тебя отдал. Да кабы все! Это затравка только.

— Зачем из-за меня?

— Зачем!.. Узнаешь скоро зачем...

И Гришка узнал.

Гордей Зеркалов через день опять пришел к Бородиным. Едва староста показался в дверях, Петр угодливо засеменял навстречу, расплылся в улыбке:

— Милости просим, дорогой гостенек...

Но Зеркалов вдруг сурово сдвинул лохматые брови:

— Но, но... Ты, Бородин, без этого... Я те не гостенек, а служебное лицо. Не забывай...

У старика похолодела спина, зашлось сердце... «Значит, обиделся за подарок... Или спрос наведет сейчас, откуда, мол, золотишко... Господи, пронеси...» Он рассмеялся неповинующимися губами, забормотал:

— Так ведь, Гордей Кузьмич... Как сказано: люби ближнего, уважай старшего... Мы — что же? Свое место знаем... От всей души ведь я за доброту твою... разьединственное...

Но Зеркалов грузно уселся на стул, не обращая внимания на болтовню старика, снял шапку, пригладил расчесанные на обе стороны волосы, расстегнул на груди полушубок и проговорил:

— Ты, Бородин, перестал бы молитву читать... Я их от отца Афанасия слышу каждый день... Дал бы лучше чего выпить...

Петр даже захлебнулся от неожиданности. Потом крикнул:

— Арина! Неси-ка нам чего... Гришка! Груздочков соленьких достань... Да получше там, с-под низу выбери... — И к Зеркалову: — Сейчас, сейчас, Гордей Кузьмич...

Когда Гришка открыл дверь, возвращаясь с солеными груздями, Зеркалов уже ставил на стол пустой стакан. Не разжимая рта, поманил пальцем Григория от порога: скорей, мол...

— Да шевелись, дьявол! — прикрикнул на сына Петр. — За смертью тебя посылать только!..

Зеркалов взял из принесенной Григорием чашки гриб и сунул себе в рот. Жевал, ни на кого не глядя, сильно двигая огромными челюстями. Прожевав, вытер мокрые губы, крикнул и проговорил:

— А сын у тебя — ничего... Пожалуй, последние дни гуляет... вот что... Предписание уже есть...

Случайно или не случайно староста заговорил об этом — Петр Бородин не знал. Но он решил, что более удобного случая не будет, и решился.

— Ты пей, Гордей Кузьмич, пей... А это верно, отгулялся Гришуха. Эвон, кто постарше его на год — Веселов, Артюхин, Ракитин — давно служат. Убили, поди, кого уж... не слышно?

— Нет пока... бумаги нету, — зевнул староста.

— Единственный он у меня, вот что, Гордей Кузьмич. Кормилец ведь. Может, льгота ему выйдет, а?

— Какая льгота тебе, — грозно сказал Зеркалов. — Война ведь... Не до льгот...



— Куда я без него, если... Подохну с голоду...

— Ты-то?! — усмехнулся Зеркалов.

Петр Бородин подвинулся поближе:

— Я давно хотел поговорить с тобой, Гордей Кузьмич.... Все бумаги через тебя проходят... Опять же, волостной старшина — твой родной брат...

— Ну? — насторожился Зеркалов. — Брат, допустим...

— Вот и... Гордей Кузьмич, благодетель!.. Э-э... чего там...

Петр торопливо, отрывая пуговицы, расстегнул рубаху на груди, сорвал с шеи что-то и протянул Зеркалову.

— Вот... — воскликнул Бородин и тяжело задышал.

На его вздрагивающей ладони, поблескивая, лежал массивный золотой медальон. Зеркалов тупо смотрел большими глазами на горевший кусок металла в руке Бородина.

— Может, тыщу стоит. Я не знаю, — еле выговорил Бородин.

— Э-эм-м... — промычал Зеркалов. — Ну-ка...

Но едва староста сделал движение, ладонь Бородина тотчас захлопнулась, и рука исчезла со стола так быстро, словно ее и не было там.

— Ты пей, Гордей Кузьмич.

Зеркалов послушно выпил. Закусить забыл, только вытер рот рукавом дубленого полушубка...

— Именно... Золото ведь... А тебе чего? Ты сбавь там, в бумагах, Гришкины годы... Гордей Кузьмич! И через посредство брата как-нибудь...

Зеркалов откинулся на стуле, обвел сузившимися глазами комнату, долго осматривал зачем-то сидевшего у дверей Григория с головы до ног. Повернулся и сказал хрипло:

— Лей...

Но стакан был полон.

— Али еще что придумай... Покажи в бумагах — помер, мол... А то ногу, мол, сломал. Локти — глушь, медвежий угол... Кто проверять вздумает? Век бога за тебя молить буду, — быстро шептал Бородин.

— Годы-то в церковных книгах записаны, — проговорил Зеркалов.

— Да они ж вместе с храмом божьим сгорели. А коли сохранилось что невзначай, я с батюшкой Афанасием как-нибудь... Не твоя забота...

С Бородина градом катился пот. Сидели они оба красные, разопревшие, будто только из бани.

— А говорил на днях — единственное богатство в доме, — хрипло начал было Зеркалов, поднимая руку с золотым кольцом на пальце, но тут же понял, что не к месту об этом, уронил кулак на

колени и попытался улыбнуться. — А ты — гусь, Бородин. Люди и не подумают, что у тебя... это самое... водится...

— Зачем им думать-то, Гордей Кузьмич! Знаем ты да я... Нам ведь жить... И надо как-то половчей... Так как же, Гордей Кузьмич?.. — шептал Бородин, перегнувшись к старосте через весь стол, залитый вонючим самогоном, купал в нем широкие смятые рукава ситцевой рубахи и редкую бороденку.

Зеркалов молчал, сидел, покачиваясь, на стуле. А старик ерзал на своей табуретке, вздрагивал.

— Ты, Бородин, понимаешь, что я... это самое... как служебное лицо, могу тебя... — начал наконец Зеркалов, приподнимая голову.

Но старик не дал ему договорить, трясущимися руками стал совать в широкую ладонь Зеркалова плоский тяжелый медальон.

— Господь с тобой, Гордей Кузьмич! Возьми и... с богом... Я — что? Понятия, конечно, не имею большого... А только хотел... И тебе ведь жить надо...

И сразу замолчал Бородин, когда почувствовал, что пальцы Зеркалова дрогнули и крепко зажали его подарок...

После ухода Зеркалова Петр молча бросил на лавку тулуп, подушку и лег, отвернувшись лицом к

стене.

Арина гремела посудой, убирая со стола. Вздохнув, она проговорила:

— Господи... Пропадем мы... Выдаст он тебя, староста-то...

Петр Бородин тотчас перевернулся на лавке, сбросил ноги на пол.

— Чего каркаешь? Ну!

— Не ори, душегуб... Вот спросят у тебя — где взял...

— Спросили бы уже, кабы... Зеркалов не дурак, чтоб... спрашивать. Какая ему корысть?

Гришка свесил голову с печки, посмотрел на отца, потом на мать и снова лег.

— И нам корысти-то с фигу. Вон сколько ему опять отвалил... — проговорил он, натягивая на себя старый зипун.

— Ты — указывай мне! — прикрикнул отец. — Забрался на печь, да голову еще под зипун. А ну, как туда, где Андрюшка Веселов... А теперь, может, так и пролежишь...

— Обманет он тебя, вот что, — буркнул Гришка.

— Не должно... Совесть он имеет али нет? Я ему еще серьги в карман сунул незаметно. Дома найдет, подумает кой-что... Сказано ведь: данное людям тебе же отдастся... Спи давай...

Надеялся Петр Бородин, обдумывая свои

планы на жизнь, что жадный до денег Гордей Зеркалов не только поможет избавиться Григорию от призыва в армию. Будет староста ему самому какой-то защитой от людской молвы, любопытства и зависти, которая неминуемо поползет по Локтям, едва он начнет разворачиваться... И не ошибся.

Дома Зеркалов долго разглядывал золотой медальон и серьги, которые обнаружил в кармане. Ему казалось, что он видел эти серьги раньше, но где — припомнить не мог.

Ночью, ворочаясь в постели, староста вдруг приподнялся на кровати: «Стой!.. А не цыганские ли... Вот тебе и Бородин!..»

Зеркалов соскочил с кровати, достал спрятанные уже в сундук серьги и, низко согнувшись, стал рассматривать их, перекатывая, как горячие угли, с ладони на ладонь. «Нет, вроде не те... — перевел дух староста. — В ухе коновала всегда болталась какая-то большая круглая серьга, наверное, фальшивого золота, а эти маленькие, тяжелые, с камнями... А все-таки... Не потому ли исчез цыганишка-то?.. Если поднять шум да рассказать брату, в два счета можно вывести Бородина на чистую воду, узнать все точно...»

Но через минуту думал уже другое: «А хоть бы и цыганские — какая мне выгода, если подниму шум?.. А так, может, еще что перепадет от Бородина. Ну, погоди, зажму я тебя, старый хрыч...

А насчет Гришки... Может, и вправду поговорить?...»

И староста спокойно уснул.

## 2

Зима тянулась и тянулась, и Гришке казалось, что это одна из самых долгих зим, которые когда-либо бывали. Почти каждый день дули ветры. Перед избой Бородиных, ютившейся у самого леса, снег выдувало и уносило. Съежившись от холода, избенка стояла на виду у всех, будто раздетая. И это вызывало у Гришки смутное беспокойство.

— Ничего, сынок... К той зиме новый домишко поставим где-нибудь в затишке... — сказал отец, будто угадав мысли сына. — А то здесь... уюту нет, как в трубе воеет и на виду все. Каждый глаза в окна пялит...

Григорий ничего не ответив. С тех пор как отец чуть не зарубил его найденным в лесу окровавленным топором, он больше молчал. Нахмутив узкий лоб, постоянно думал о чем-то. Случалось, подолгу наблюдал за отцом, но, едва тот оборачивался, отводил глаза в сторону. И никогда не заводил речи о том, что случилось. Только однажды проговорил:

— Дай-ка, батя, красенькую...

— Но! — удивился Петр. Давно уже сын не

просил у него денег. — Ишь ты! А зачем?

— Тебе что? Может, пропью...

— Ах ты молокосос!

Гришка сузил глаза, проговорил спокойно, не разжимая зубов:

— Ну ты, не лайся... теперь-то... Давай, сказал... Твои они, что ль?..

Старик застыл с открытым ртом. Потом покорно полез в карман:

— На... Вижу, зря я Зеркалову... за тебя...

— Ты, батя... дурак, вот кто, — усмехнулся

Гришка.

Петр Бородин вздохнул, покачал головой и хриловато произнес:

— Спасибо, сынок... А только не советую тебе так со мной... — И неожиданно сверкнул желтоватыми глазами. — Понял, сукин сын?! Не советую... А то...

Гришка невольно отскочил: «Он такой... Ему что — отравит. И — поминай как звали...»

— Что ты, батя! — сдавленно проговорил он и протянул обратно деньги. — Возьми назад, я ведь так... спытать хотел... Возьми...

Отец принял деньги, зашептал в самое ухо, щекоча Гришку бородой:

— Так, сынок... Это — так... Надо всегда по-хорошему... Ты да я — и больше никого нет на земле... А мне для тебя ничего не жалко...

Но с этого дня Гришка больше никогда не просил денег у отца.

Не просила теперь мужа и Арина свозить ее в больницу, даже не жаловалась на болезнь, хотя чахотка все больше и больше съедала ее. Она мыла, стирала, готовила, часто и подолгу кашляла, отворачиваясь от мужа и сына. Едва удавалась свободная минута, Арина принималась молиться. Когда молилась, быстро шептала бескровными губами, часто крестилась.

Зато среди ночи Григорий несколько раз слышал, как мать что-то кричала во сне о цыгане, об отце, о нем — Гришке.

Петр Бородин тоже слышал, потому что каждый раз вставал и тряс жену за плечо:

— Что мелешь, что мелешь ты!.. Очнись, якорь тя... Ведь этак, чего доброго... если бы слышал кто...

Однажды разбуженная Арина крикнула прямо в лицо мужу:

— Не вытерплю я, пойду к людям и... облегчу душу — расскажу все...

Петр закрыл ей рот ладонью, растерянно посмотрел на Гришку. Тот притворился, что спит. В тишине потрескивала керосиновая лампа, которую не тушили теперь всю ночь...

Так и прошла зима.

Весной Петр Бородин вгрызся в землю, как



изголодавшийся пес в краденую кость.

Отдельные участки купленной земли действительно были немного залесенными. Кончив пахоту и сев, Бородины втроем принялись корчевать деревья. Дневали и ночевали в поле. Сосны подкапывали, валили их, возили в деревню и складывали штабелем. Те, которые поменьше, таскали на себе, чтоб не платить лишние деньги за перевоз.

— Свой лесок, слава те господи, — говорил Петр. — Немножко еще прикупим — и, бог даст, новый домишко поставим.

— Тяжко их таскать мне, внутри саднит, — сказала как-то жена. — Нанял бы уж, чтоб заодно все на лошадях вывезли.

— Нанять и дурак может... Тому деньги не жалко.

— Чего их жалеть... такие-то?

Петр вроде не рассердился, не закричал, сказал тихо, успокаивающе:

— Бог зачтет на том свете, матушка. А деньга хозяина не любит и без того норовит в чужие руки. Ты потерпи уж, подходит наше время... Бери-ка тот конец, потоньше.

И, видя, что жена не решается подойти к бревну, ощерил черные изъеденные зубы:

— Бери, сказал!.. Ну?!.

На пути Арина оступилась и упала. Бревно

тяжело ударило ее по спине. Когда Петр подошел, перевернул жену кверху лицом, она не издала ни звука, только широко открывала рот, хватая воздух, да смотрела на мужа страшными глазами. Правая рука ее была сломана и висела как плеть.

Арина медленно закрыла глаза и потеряла сознание.

Очнулась она уже ночью, застонала, попросила пить и обратилась к сыну, а не к мужу:

— Гришенька, сынок... в больницу бы, а? А то помру...

— Батя... а? — тихо и неуверенно проговорил Григорий.

— Ее в больницу, а нас с тобой в тюрьму! Слышал, чего она в горячке мелет?..

Утром Петр Бородин, собираясь в поле, окликнул Гришку:

— Ну а ты чего расселся? Праздник, что ль? Бери вон топор, веревки.

— Так ведь... мать...

— Ну, что мать? Сидеть теперь около нее? Положь рядышком на табуретку хлеба, картошки... водицы поставь. К обеду вернемся, коли уж так. Время не ждет... — И зашептал: — Не жилица она, сынок. Ей больница без надобности теперь... Не жилица... Пошли, пошли.

В обед отец спокойно уселся под деревом, кинув на сырую землю мелких сосновых веток,

развязал на коленях узелок с едой.

Гришка растерянно топтался рядом, бросая взгляды на деревню. Но постепенно спокойствие отца, неторопливо, аккуратно раскладывавшего на старенькой застиранной тряпке хлеб, сморщенные соленые огурцы, желтоватое застаревшее свиное сало, — это страшное спокойствие передалось и ему. «Однако он правильно рассудил, батя-то...» — подумал Гришка.

Когда они вечером вернулись домой, Арина была мертва.

### 3

Где-то шла война, а здесь, в Локтях, текла жизнь по-прежнему сонная, тихая. Повоеет разве только баба, получившая похоронную, пошумит иногда Алакуль, посвистит тоскливо в трубе ветер. Но на все это не обращали внимания.

Староста Гордей Зеркалов и лавочник Алексей Лопатин получали газеты, в которых расписывались победы русских войск на фронте, высокий боевой дух солдат, сражавшихся «за веру, царя и отечество». Эти газеты Зеркалов и Лопатин охотно давали читать желающим. Но таких находилось мало — редко кто умел читать.

Однако со временем, неведомо какими путями, все больше и больше доходило до Локтей

известий с фронта. То полз из дома в дом, леденя души женщин-солдаток, слух, что немцы в пух и прах разбили русскую армию, заняли чуть ли не пол-России, всех пленных солдат угоняют в Германию на работу в рудники. То говорили, что война чуть ли не кончилась, потому что русские и немецкие солдаты не захотели воевать, побросали винтовки и вечерами ходят друг к другу пить чай и самовольно уезжают с фронта домой.

— Господи, да хоть бы!.. — вздыхали локтинские бабы и крестили плоские груди. — Наши-то мужики чего глядят? Взяли бы да приехали домой...

— Но, но, приехали! — раздавался предостерегающий голос какого-нибудь зажиточного мужика. — Это дезертирством называется. А таких-то сейчас ловят по деревням...

Это, очевидно, было правдой, потому что однажды глубокой ночью к Марье Безруковой ввалились староста Зеркалов, его брат, волостной старшина, такой же кряжистый и угловатый, как и Гордей, мужик, двое военных. Насмерть перепуганная Марья Безрукова стояла перед ними полураздетая и ничего не могла сказать.

— Накинь хоть на плечи, бесстыжая, — сказал ей Гордей, сдернув с гвоздя полушубок.

Брат Гордея и военные внимательно осмотрели избенку, заглянули под кровать, слазили

даже в подпол.

— Да что это, господи?! — выдавила наконец из себя Марья.

— Муж-то пишет? — вместо ответа спросил брат Гордея Зеркалова, оглядывая Безрукову цепкими глазами.

— Пишет... редко только...

— У нас в деревне, господа, дезертирующих нет... — сказал староста Гордей, обращаясь к военным. — Если появятся, я и сам... А неожиданная проверка... да, нужна... Слежу строго, с усердием... А все ж таки можно и не углядеть... Потому благодарствую за помощь...

Гордей говорил, заметно волнуясь, противно изгибаясь перед людьми с погонами, непрерывно оглядываясь на брата, как бы ища поддержки.

Один из военных, тощий и желтый, как высохшая селедка, все время морщился от слов Гордея, дергал рыхлой щекой, потом сказал раздраженно:

— Да не мешайте же, прошу вас... Благодаря вашему «усердию» ссыльный Семенов сбежал...

— Виноват, недосмотрел... Но ведь тих, покорен был, исполнителен... Кто бы мог подумать!.. О побеге я в тот же день доложил. И о дезертирах, если такие появятся... будьте покойны...

Военный прижал ладонь к щеке, словно у него

заболели зубы, и отошел от Гордея.

Утром деревня гудела. Оказывается, не у одной Марьи Безруковой побывали ночные гости.

Понемногу волнение, вызванное ночным обыском, улеглось. И снова над Локтями установилась тишина.

\* \* \*

Похоронив жену, Петр Бородин ходил по земле прямо и молодо, будто сбросил с плеч гнувший к земле груз.

— Так-то, сынок... Теперь возьмем свое... — сказал он Гришке, возвращаясь с кладбища.

И начал брать...

На несколько дней старик уехал из Локтей. Вернулся в новых запыленных сапогах из толстой юфти, в добротной суконной паре. Пиджак висел на нем, как на колу, и тоже пропылился насквозь. В новую, купленную где-то бричку-пароконку были запряжены два свирепых, точно звери, жеребца. Третья лошадь шла позади, мотая головой, пытаясь оборвать ременный повод.

Когда ехал по деревне, провожали Бородина завистливые, изумленные взгляды, тихо переговаривались меж собой бабы и старики:

— Смотри-ка! Землю купил, а теперь вот... Неужели с самогона разжился?